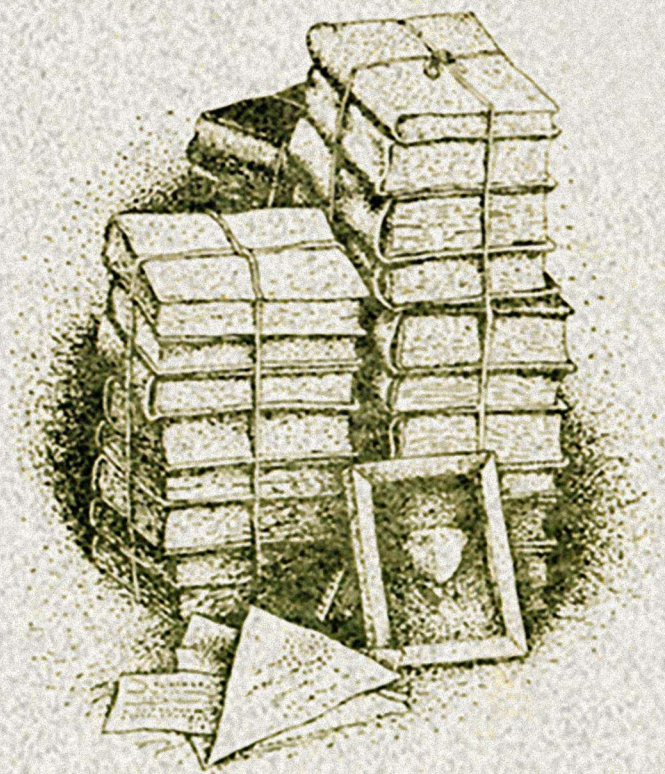


ГАРТУНГ  
Леонид Андреевич

# НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ...



Томск • 2018

Администрация Томского района  
Межпоселенческая центральная библиотека Томского района  
Музей Томского района

**ГАРТУНГ**  
**Леонид Андреевич**

**НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ...**

*повести*

Томск•2018

ББК 84(2 Рос)6

Г 22

**ГАРТУНГ Леонид Андреевич**

Нельзя забывать (повести) — Томск:

Издательство «Ветер». — 2018. — 158 стр.

Книги прозаика Л.А. Гартунга хорошо известны томичам. Педагог по профессии и по призванию, основой своих произведений выбрал тему становления характера подростка, отношение юности к проблемам взрослых и участие в решении этих проблем. В книгу, выход которой приурочен к столетию со дня рождения писателя, включены две повести. Первая повесть для подростков — о детях, рано повзрослевших в годы Великой Отечественной войны, о сложных трагических взаимоотношениях взрослых. Вторая повесть — автобиографична. Впервые автор подробно рассказал о своём непростом периоде жизни, после депортации со своей Родины в город Томск. Книга будет интересна и детям и взрослым.

© МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека  
Томского района», 2018.

© Издательство «Ветер», 2018.

***100-летию со дня  
рождения посвящается...***



**Гартунг Леонид Андреевич (Генрихович)**  
13.05.1919 - 20.06.1994

## Автобиография

Есть люди, оставившие след в жизни. Они покоряют сердца многих людей, знавших их, своей порядочностью и профессионализмом. Особенно чудесно, когда такой человек написал еще и замечательные литературные произведения, трогающие душу и которые невозможно забыть. А вот когда все это сочетается в одном человеке, то, я думаю, такого человека не забудут многие поколения. Речь идет о писателе и учителе Леониде Андреевиче (Генриховиче) Гартунге. Он работал в нашем Томском районе учителем и завучем Калтайской восьмилетней школы более 25 лет. Я встречала многих его учеников и слышала о нем только восторженные отзывы. Этот замечательный учитель был награжден значком «Отличник народного просвещения», в 1968 году был участником Всесоюзного съезда учителей в Москве. Леонид Андреевич и его жена Ирма Петровна создали в Калтайской школе музей. В 1963 году Л.А. Гартунг стал членом Союза писателей СССР, также он стоял у истоков создания Томского областного союза писателей. С 1961 по 1994 год были изданы книги: «Трудная весна», «Зори не гаснут», «Окно в сад», «Порог», «Завтра ты войдешь в класс» (заметки сельского учителя), «На исходе зимы», «Повести и рассказы», «Нельзя забывать», «Был такой случай» и «Патриоты без родины».

Леонид Андреевич родился 13 мая 1919 в Самаре, в семье военного врача. В книге «Писатели о себе» он пишет: «Первый год своей жизни я провел на колесах, в военной теплушке среди красноармейцев, гнавших Колчака за Урал». И хотя родился он в Самаре, мир ему открылся маленьким украинским городом Гайсин, куда поселились его родители после фронтовых дорог. Он с особой теплотой вспоминал частные лавочки, пахнувшие мылом и дешевой селедкой, дикий виноград, обвивший крыльцо, маленькую речку у скалы, белые хатки, покрытые соломой и украинские песни в исполнении матери.

По приезду в Саратов, он учился в школе №2. И здесь его воспитывали увлечения. Например, стихи Маяковского: «Одно время я ими чуть не бредил, даже читал со сцены. Взяв в руки том Л. Толстого или Ф. Достоевского, я уже не мог оторваться от него. Часто читал ночи напролет и на рассвете, погасив выгоревшую керосиновую лампу, шел в школу, не приготовив ни одного урока». Настоящей страстью было и кино. «Чапаев», «Юность Максима»,



*г. Гайсин 1924 и 1929гг.  
Фото из семейного архива.*



«Мы из Кронштадта» и другие он знал наизусть и мог пересказать кадр за кадром.

После школы Леонид поступил на исторический факультет Саратовского университета. И хотя он поступил, как сам признается, случайно (потому что туда поступил его друг) учиться там ему было интересно. Гартунг пишет «Хорошее это было время. Наша жизнь была до предела насыщена новыми мыслями, спорами, стихами, книгами».

К сожалению, многие его сокурсники, замечательные и способные ребята, погибли на войне.

Неизгладимый след в жизни Гартунга оставила атмосфера глубокой духовной жизни писателя Владимира Федоровича Бабушкина, отца его друга Алексея. Его пленяло все: книги на стеллажах, большой портрет Некрасова, кабинет, письменный стол с коралловой чернильницей и перламутровой ручкой. Рассказы писателя делали революцию и город Саратов живыми, осязаемыми. Совсем другими глазами Леонид уже смотрел на свой любимый город.

Когда началась война, Леонид оканчивал третий курс университета. Многие преподаватели и сокурсники ушли добровольцами на фронт. После окончания (сокращенного на год из-за войны) университета Леонид Андреевич

был распределен в сельскую школу в деревню Пионеровка. Он вспоминал: «Поздний августовский вечер 1941 года. За столом комиссия. Мы, выпускники, входим по одному. Идет распределение. Нас не уговаривают. Здесь перед картой Родины, это звучит как приказ. Весь сентябрь работали на уборке картофеля, и только в октябре дождался я, наконец, моего первого урока. Нет, не удался мой первый урок. Слишком далеко был Египет, и слишком близко война».

Осенью 1941 вместе с другими немцами Поволжья был принудительно переселён в Сибирь, на спецпоселение. Работал столяром, плотником. Пообвыкнув, приглядевшись, набив мозоли, отправился в район. «Хочу работать учителем!» — заикаясь от волнения, заявил он. «Пишите заявление, — ответили ему. — Рассмотрим». Там же, на Степановке, ему разрешили вести математику, физику, химию и черчение. Школа помещалась в бывшем особняке купца Степана Сосулина, том самом, что построен по проекту Г.С. Батенькова. Судьба декабриста глубоко взволновала Гартунга. Он решил познакомиться поближе с его творческим наследием. В результате появился очерк о Батенькове.

Здесь уже в Томске он случайно встретился с Ирмой Дамер, знакомой из г. Саратова, они ходили в один детский сад, учились в одной и той же школе и даже на одном факультете Саратовского университета. С декабря 1942 по апрель 1945 Ирма работала в трудармии в г. Новосибирске. В августе 1945 года они поженились. В 1950 г. Леонид Андреевич с семьей переехал в село Калтай. 25 лет преподавал историю и физику в восьмилетней школе, долгое вре-



*Леониду 15 лет.  
Фото из семейного архива.*



*Группа студентов истфака Саратовского университета.*

*Л. Гартунг первый справа в верхнем ряду.*

*Фото из семейного архива*

мя работал заведующим учебной частью. В семье Леонида Гартунга росли две дочери: Наталья (1946 г.р.) и Татьяна (1955 г.р.).

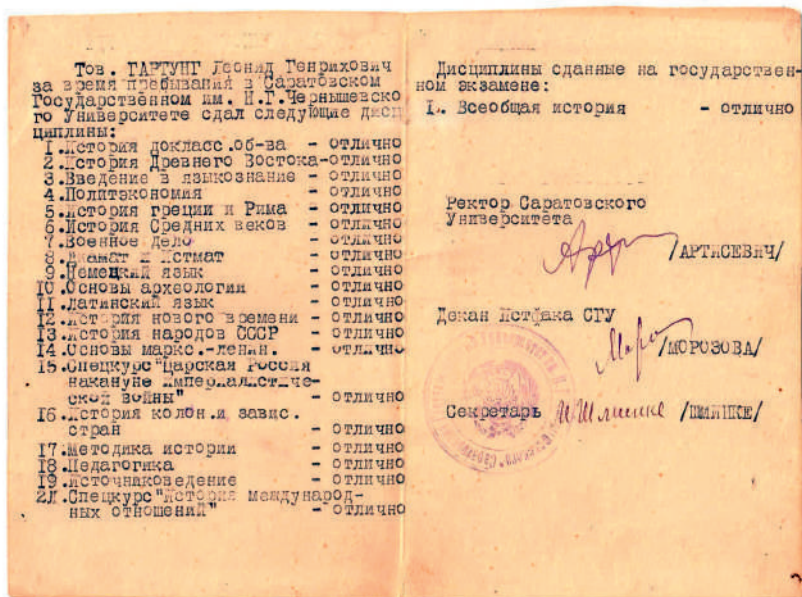
Каким он был учителем, вспоминают его бывшие ученики. Макарова (Лисовская) Надежда Александровна, которая жила и обучалась в Калтайской школе: «Жили в Калтае с 1957 года по 1961. Дом был рядом с домом Гартунгов. Его мама Леонида Андреевна была фельдшером. Часто к ней обращались за помощью и советом односельчане. Леонид Андреевич вел у меня историю. Это был необыкновенно интеллигентный человек, вспоминается культура общения: доброжелательность, мягкость, радушие. Сложный материал мастерски мог доносить до учеников. На всю жизнь помню, как он объяснял слово «конкуренция», приводя пример про продажу на рынке сапог Пети и Вани. Леонид Андреевич никогда не был озлоблен, любовь к ученикам была у него как-бы изнутри. Такие педагоги — большая редкость!»

Фомичёва (Суханова) Татьяна Ивановна, у которой Гартунг вёл историю и физику: «В селе Гартунга очень уважали, несмотря на то, что он был по национальности немец. Он много занимался в школе нашим воспитанием: готовил в пионеры, в комсомол. Дети слушали его с большим удовольствием, вниманием, так как он был великолепным рассказчиком. Он организовал поездки по соседним сёлам с выступлениями учеников и педагогов. Дома он тщательно готовился к урокам, по физике проводил всегда много опытов».

Вершинина (Караваева) Нина Степановна, дочь учителей Калтайской школы: «Наша семья была очень дружна с семьёй Гартунга, общие праздники так объединяли членов семьи, что при отъезде родителей меня оставляли у Гартунгов. Очень интеллигентная семья, никогда не грубили ни в школе, ни дома. К детям чувствовалась безграничная любовь. В Калтае жили люди разных национальностей, но никто и никогда не относился друг к другу плохо».

Вот что Леонид Гартунг писал о профессии учителя: «Я всё чаще ощущаю, как трудно делить себя между учительской работой и писательским трудом. Оставить школу и стать профессиональным писателем? Но моя учительская работа для меня не только заработок. Я люблю войти в класс к детям, я счастлив, если удаётся дать хороший урок. Очень часто я думаю: есть что-то притягательное, неповторимое в нашей профессии. А что именно? Нет у нас аплодисментов, которыми одаривают артиста, и похвалами инспектора нас не часто балуют, и книжку новую подчас некогда прочесть, и ученик иногда обидит... И домой придёшь — присесть бы к телевизору, да некогда — ждут тетради. И все-таки настоящий учитель никогда не изменит своей профессии. В чем же секрет, в чем особая радость нашего труда? Я думаю, прежде всего, в общении с детьми. Что нам не говорите, а это самая симпатичная часть человечества!»

Пробовать себя в писательском труде Гартунг начал рано: «Лет одиннадцати мы вдвоем с товарищем писали рассказы. Писали рассказы ночами, когда мать уходила на дежурство и мы оставались в квартире одни. Первая моя повесть имела даже успех в пределах четвертого класса». В ранней юности были стихи. На третьем и четвертом курсах исторического факультета он много и охотно работал в редколлегии университетской многотиражки, затем в областной



комсомольской газете и в радиоцентре. Первые его публикации, это рецензии на фильмы и статьи о студенческой жизни. Тогда же он начал писать роман, но сжег его в Томске, чтобы подогреть остывший суп. Приходя после 12 часов напряженной работы в столовке на Степановке, в холодной комнатке писал веселые сказки.

По приезду в Калтай определилась не только его учительская, но и писательская судьба. Одна за другой в Томском книжном издательстве вышли его книги «Трудная весна» (1961), «Зори не гаснут» (1962), «Окно в сад» (1963), повествующие о буднях сельской школы, больницы, библиотеки. Они населены живыми людьми, тружениками, подвижниками. По этим книгам Леонид Андреевич (Генрихович) Гартунг был принят в Союз писателей СССР.

Леонид Гартунг пишет о сельской интеллигенции, а потому часто пользуется подробностями своей собственной жизни. Они, эти подробности, проглядывают в судьбах и молодого врача Виктора Вересова из повести «Зори не гаснут», и учительницы Тони Найденовой из повести «Порог», и старого библиотекаря Ивана Леонтьевича Потупушкина из повести «На исходе зимы». В повести «Алеша.



*Л. Гартунг, первый справа во втором ряду,  
с детьми школы №35 на Степановке*



*Л. Гартунг второй слева в первом ряду с учителями и учениками  
Калтайской школы. Фото из семейного архива.*



### ***Членский билет Союза писателей СССР Л. Гартунга.***

Алексей» многое фактов из личной жизни писателя. Последняя его автобиографическая повесть под названием «Патриоты без родины» была напечатана в марте 1994 года в литературном альманахе «Феникс» в Казахстане. Ею очень дорожат его дети, т.к. у них это единственный экземпляр. Внучка Маша любезно предоставила нам эту повесть для переиздания к 100-летию со дня рождения Леонида Гартунга, которое мы будем отмечать 13 мая 2019 года.

В музее истории образования Томского района, который находится в деревне Кисловке, работает постоянно — действующая экспозиция «История, культура и быт российских немцев», где особое место занимает выставка, посвященная жизни и творчеству Леонида Андреевича Гартунга. В преддверии открытия выставки, для школьников был объявлен конкурс исследовательских работ о жизни и творчестве писателя. На выставке представлены лучшие работы детей. Осенью 2016 года в музей приезжали обе дочери писателя, оставили очень ценные документы и фотографии. А в мае 2018 гостями музея были внуки и правнук. Они очень радовались тому, что в музее трепетно и с любовью хранятся все, что связано с именем замечательного человека, педагога и писателя, и ведется огромная работа по сохранению памяти о нём.

***С.Ф. Вершинина,***  
***руководитель музея истории образования Томского района***



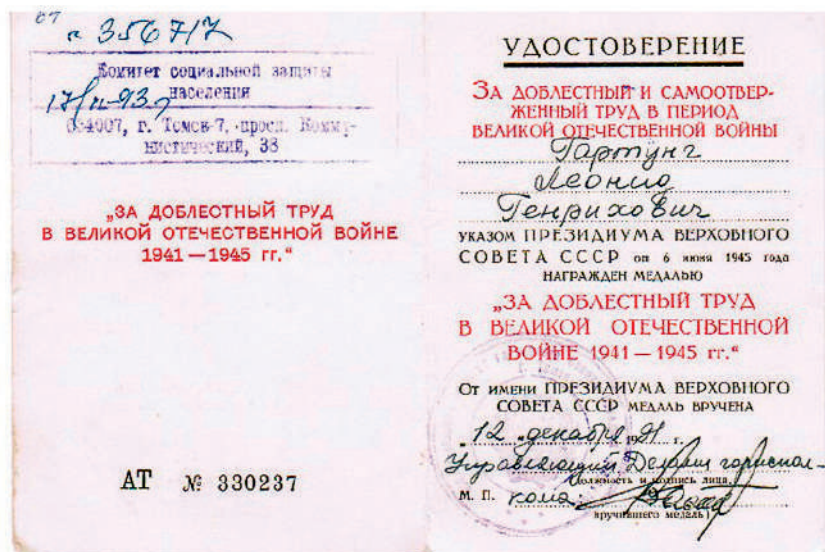
*Всесоюзный съезд учителей (Москва, кремль, 2-5 июля, 1968 г.)  
Л.А. Гартунг сидит первый слева.*

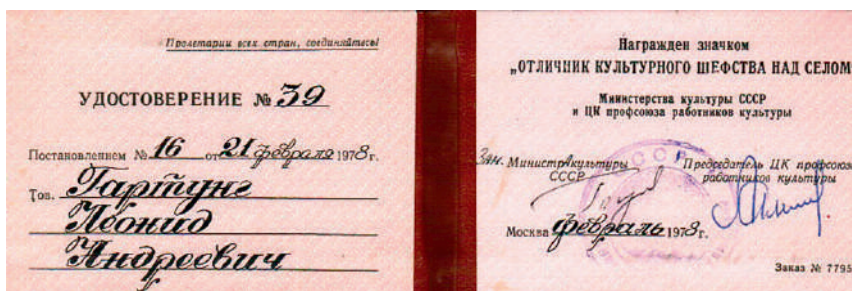


*Книги Л. Гартунга из музея истории  
образования Томского района*



На фотографии слева направо дочери Л. Гартунга: Татьяна и Наталия, дети — Е. Таркановская, А. Чайка и С.Ф. Вершинина в музее истории образования Томского района. Сентябрь 2016 г.





*Союз писателей Томской области. 1963 г.  
Л.А. Гартунг стоит первый слева.*



*Леонид Андреевич (Генрихович)  
Гартунг*



*Ирма Петровна  
Гартунг*

# НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ...

*Посвящается милым моим внукам  
Диме, Оле, Маше и Сереже.*

В ту пору мы жили на Прибрежной улице. Она имеет только одну сторону. Противоположной — просто нет. Вместо неё — крутой берег Томи.

Если случался сильный ветер, он кидал в наши окна брызги воды. И когда на реке кричали что-нибудь в рупор, то у нас было слышно каждое слово. А однажды в апреле затор нагромоздил лёд точно против наших окон. Ребята говорили, что прилетали самолёты и сбрасывали бомбы, чтобы разбить затор, но это брехня. Просто приехали подрывники на двух грузовиках. Они привязывали к длинным палкам какие-то штуки, совали их под лёд, а потом раздавались взрывы. От них весь наш дом вздрагивал и в ушах как будто что-то лопалось. Один из взрывов был такой сильный, что ледяные крошки ударили о наши оконные стёкла. Мама побледнела: — Что они, с ума сошли что ли? Нюра, уйди от окна... Но Нюра как стояла у окна, даже не пошевелинулась.

Тогда мы занимали две комнаты нижнего этажа в единственном на улице двухэтажном доме. До революции он принадлежал какому-то торговцу, а потом торговец скрылся, и дом стал жактовским. Я любил наш дом и школу, в которой учился. Она тоже находилась на Прибрежной улице. Её строил отец, когда только начинал плотничать. Город наш долго оставался совсем небольшим. На окраинах сажали огороды и весной улицы зарастали мелкой «гусиной» травкой.

Целыми днями, мы, мальчишки, пропадали на берегу, особенно в апреле, когда шёл лёд. Лдины плыли, задевая друг за друга, хрустя и позванивая, грязные сверху, чистые и голубые внизу. Как-то раз близко к берегу проплыла широкая льдина. На ней сидела худая рыжая кошка. Около кошки валялась палка — должно быть, кто-то кинул и не попал.

Кошка посмотрела на меня равнодушно — она уже ни от кого не ждала помощи и поставила на своей судьбе крест.

Льдина плыла не быстро, и я пошёл за ней. Около Нижних складов, как я и ожидал, она почти коснулась берега. Я прыгнул на неё, чтобы снять кошку, но это оказалось не так-то просто — кошка почему-то испугалась меня и стремглав бросилась на другой конец льдины. Она не обращала внимания на мои ласковые слова:

— Кисанька, куда же ты?

С трудом я поймал её. За это время льдина успела отойти от берега. Пришлось разбежаться и прыгнуть. Расстояние было небольшое, но мешала кошка в руках. Правой ногой я угодил в воду и набрал полный ботинок. К тому же моя рыжая зверюга чего-то испугалась, стала царапаться и чуть не выскользнула из моих рук. Непонятное существо: когда ей грозила гибель — спокойно сидела на льдине, а когда её спасли, — стала вырываться, как сумасшедшая.

Встретив меня во дворе, Нюра спросила:

— Неужели ты эту дрянь потащишь в дом?

— Почему дрянь? — возмутился я. — Очень умная кошка. Рыжуха!

— Как узнал ты, как её звать? Она сама сказала?

Такая уж манера у моей сестры — подкусывать меня по любому поводу.

Мама отнеслась к Рыжухе спокойнее, а папа вообще не обратил на неё внимания. Если бы только Рыжуха знала, как Нюра называла её. Кроме «дрянь приبلудная» — другого имени ей не было, но это продолжалось недолго. Дня через два я из сеней услышал, как сестра говорила нежным голосом:

— Милый ты мой, не сиди на подоконнике. Простудишься!

Я попытался поправить сестру:

— Почему ты кошку называешь «милый мой»?

— Потому что это не Рыжуха, а Рыжик.

— Не всё ли равно?

— Как сказать? Во всяком случае, у Рыжика не будет котят... Это уж точно...

Мне оставалось только пожать плечами.

Рыжик мало ел и много спал. Я попробовал его дрессировать, но из этого ничего не получилось. Кот не хотел даже прыгать через палочку. Он вообще ничего не собирался выполнять. Меня, своего спасителя и хозяина, он не признавал. Целыми днями сидел на по-

доконнике, поджав под себя лапы, и грелся на солнце. Никакого в нём интереса. Скучный зверь.

Семья наша состояла из пяти человек. Отец мой «сезонник». Работал он только летом, а зимой сидел дома. Но «сидел» — это только говорится — отец не умел бездельничать. Целыми днями он столярничал во дворе, в своей избушке, мастерил полочки для цветов, табуретки, санки для детей, и мама относила их на базар.

Ещё совсем маленький я понял, что отец работает не только ради денег — ему нравилось что-нибудь мастерить. В избушке у него стояла небольшая железная печка, верстак с двумя тисками и разными столярным инструментом. Мне нравилось приходить к отцу и, усевшись на берёзовую чурку, смотреть, как он работает. Был я самым младшим в семье. Вообще-то моё появление на свет произошло, как мама говорила, «ни к чему». Обидно, что живёшь «ни к чему», но что поделаешь...

Иногда летом в день получки отец выпивал с товарищами и приходил домой навеселе. Тогда в комнатах ему было тесно, он выходил на улицу и садился на длинной скамейке. К нему подсаживались соседи, и начиналась игра в лото. Но навеселе он бывал редко — отец не любил пьяных и сам, когда немного выпивал, не болтал, не хвастал, а делал вид, что ничего не случилось.

Брата моего звали Гришей. Отец учил его столярному делу. С завистью я слышал, как он хвалил Гришу:

— Руки у тебя золотые.

После этого я внимательно разглядывал Гришины руки и не находил в них ничего «золотого» — руки как руки.

Говорили, что характером отец пошёл в деда — лёгкий, весёлый, всё делал быстро, ни над чем особенно не задумывался.

Когда я немного подрос, то из разговоров с Гришей узнал, что у отца есть одна мечта. Он собирался со временем купить токарный станок по дереву и стать токарем. Для этого отец откладывал деньги, достал резцы. Купив такой станок, он перестал бы мастерить табуретки, полочки и стал бы точить детские песочницы, изящные балясины для балконов, замысловатые трости для стариков. Но на этом мечта не кончалась — став токарем, отец заработал бы много денег и как-нибудь повёз бы нас всех в Крым, в Ливадию, где прежде нежились цари...

Сестра Нюра с детства росла, как мама говорила, «шибко сурьёзной». Серьёзность её выражалась, прежде всего, в том, что она всё делала по-своему. Так, летом сорокового года, после окончания десятого класса, она укатила в Москву — там пыталась сдать в университет, на химфак, но приехала домой ни с чем. Мама, зная характер Нюры, не стала подробно пытаться, что и как, спросила только:

— Что теперь делать-то думаешь?

— Не пропаду, — ответила Нюра коротко.

Пропасть она, конечно, не пропала, даже замуж вышла, но об этом потом...

Когда я был совсем маленьким, а Нюра ещё училась, она мечтала стать балериной и устраивала представления для меня одного. Играл граммофон. Огромный, неподъёмный, с большой трубой. На трубе масляной краской художник нарисовал букеты голубых цветов. Помню пластинки: «Подайте Христа ради» («Песнь нищего») и «Гриша уезжает». Её терпеть не мог Гриша — мы каждый раз его подначивали: «Куда это ты собрался?». Особенно любила Нюра «Цыганские пляски». Вот под «пляски» Нюра и танцевала. Пластинки были дореволюционные, толстые, с бороздками только на одной стороне. Граммофон остался ещё от бабушки, которая считала его главным своим богатством. Бабушку, мамину маму, я уже не застал.

Нюра выросла почему-то строптивой, но что было хорошего в ней — она никогда не жаловалась на меня маме. Что-нибудь натворю — шлёпнет что есть мочи — и молчок. И я тоже на неё никогда не жаловался.

Перед войной Гриша перешёл уже в десятый класс, а я ещё только во второй.

Мама до войны нигде не работала — и без того хватало забот. Весь дом держался на ней. Целыми днями она стирала, штопала, шила на швейной машине, варила, мыла полы.

На втором этаже нашего дома жили разные люди. Помню милиционера, он ходил в форме, с наганом в кобуре. Когда он жил наверху, там пахло кожей и хорошим табаком. Однажды летом его убили бандиты где-то на железной дороге. Смерть его помню смутно. На похороны приезжала его мать, которая жила в деревне. Она забрала оставшиеся вещи: серое солдатское одеяло, выходные хромовые сапоги и гармошку, на которой он никогда не играл. Запомнилась

красная крышка гроба, прислонённая к стене отцовской избышки, духовой оркестр. Мощные и печальные звуки оркестра меня поразили. Очень хотелось умереть, чтобы и на моих похоронах играла такая же красивая музыка.

После милиционера наверху поселился учитель нашей школы Кирилл Петрович. Когда он переезжал, старшие ученики помогали ему таскать книги. А книг было великое множество. Их навалили среди комнаты целую гору. Я тогда ещё подумал: «Век ему с ними не разобраться». Однако я ошибся. Через два дня все книги аккуратно стояли на полках. Провожая глазами Кирилла Петровича, я с уважением думал: «Неужели он всё это прочёл?». Впрочем, ничего мудрёного — наверное, прочёл, потому что целыми вечерами сидел за книгами. Мы уже, бывало, ляжем спать, а у него ещё свет. Один раз, когда Кирилл Петрович ушёл в школу, я поднялся наверх и посмотрел, что это за книги. Читать меня Гриша научил ещё до школы, поэтому я сумел разобрать некоторые заглавия. Среди них встречались очень завлекательные, например: «Тайны египетских пирамид». «Тайны» — решил я, это что-нибудь интересное, а посмотрел: непонятно и скучно.

Любопытный человек был «новый жилец», как называла его Нюра. Он так же, как она, никогда не улыбался. Однако его нельзя было назвать нелюдимым. К нему часто приходили ученики старших классов — они собирали материал для книги, которую он писал. В нашем городе жило много бывших партизан. Они тоже приходили к Кириллу Петровичу, что-то рассказывали ему о гражданской войне, и он записывал эти рассказы.

Каждый день я видел его в школе — он преподавал историю в девятом и десятом классах.

Однажды я не выдержал и удивился вслух:

— Как много у вас книг... И всё по истории?

Он засмеялся:

— Самая главная история не в книгах...

Я тогда не понял, что он хотел сказать.

Кирилл Петрович прожил тяжёлую жизнь. Рос он сиротой и никто не помогал ему. О своей жизни он не рассказывал. Я узнал о ней из черновика автобиографии, в который он завернул ягоды. Ягоды он почему-то отдал Нюре. Она их съела, а листок бросила. Из этого

листка я узнал, что Кирилл Петрович родился в селе Уртам на Оби в 1910 году. Отца и мать его убили колчаковцы. Оставшись без родителей, он до четырнадцати лет жил у дяди, брата матери, затем уехал в наш город. Работал токарем на мебельной фабрике, а вечерами посещал рабфак. Заочно кончил Томский институт и стал учителем.

Жил он не как все: не ходил в кино, не бывал в гостях, не играл ни в какие игры. И, по-честному сказать, он мне не нравился. Я его даже немного побаивался. Одно привлекало меня — его любовь к рыбалке. Почти каждую субботу он уходил на Томь, ночевал где-то один, на берегу, а чуть свет закидывал удочки. Возвращался он всегда с уловом и всю рыбу отдавал маме. Мама варила уху для него и для нас.

Свою большую комнату он разгородил на две части книжными полками и устроил себе маленькую спальню. Как-то поздно вечером я решил посмотреть, что он делает. Снял ботинки и неслышно стал пробираться наверх. Он сидел спиной к двери и что-то писал. Я старался двигаться бесшумно, но он всё же услышал меня — обернулся:

— Тебе что-нибудь нужно?

— Я только посмотреть...

— Ну смотри, — сказал он серьёзно и снова занялся своим делом. Но мне уже расхотелось смотреть.

Вообще, все в нашем доме относились к нему с уважением. Одна Нюра разговаривала с Кириллом Петровичем насмешливо и даже грубо. Это было тем более удивительно, что он ведь был когда-то её учителем. Я слышал такой разговор между ними:

— Что это вы всё пишете?

— Книгу.

— Разве мало на свете книг?

— Такой ещё нет.

— Вы уверены?

— Вполне.

В голосе её, когда она говорила с ним, слышалась насмешка.

«За что она его так не любит? — удивлялся я. — И почему он ей всё спускает?» А она продолжала задираяться. Говорила сердито:

— Почему вы так много курите?

— Могу бросить, если не нравится...

— Слабо!

— Если решу — брошу.

— Трудно решить?

— Пожалуй.

— А я хочу, чтобы вы бросили... Хочу!..

Я думал, что он возмутится, но он покорно и вежливо сказал:

— Ну что ж — я брошу, если ты хочешь.

И, самое удивительное, он, правда, перестал курить. Взял и перестал, хотя я слышал, что от этой плохой привычки не так-то легко отделаться. Тоже непонятные, хотя совсем другие отношения сложились у Кирилла Петровича с отцом. Почти каждую субботу отец поднимался к Кириллу Петровичу и оставался у него около часа. О чём они там говорили — не знаю, но возвращался отец, торжественно держа в руках книгу. Потом он читал её вечерами, не торопясь. Эти чтения были неким священнодействием — отец умывался после работы, переодевался во всё чистое, причёсывал мокрые волосы. Сняв сапоги, он надевал шерстяные носки, садился за стол и раскрывал перед собой книгу. В доме всё затихало:

— Отец читает!

А до того, как у нас поселился Кирилл Петрович, отец вообще книг не любил, особенно презрительно относился к романам:

— Это для молоденьких. Нам такое ни к чему.

Тем более непривычно было видеть, что теперь он каждый вечер сидел за чтением. Книги были сплошь исторические, в том числе и романы.

Отец и мама никогда не ссорились, но недовольство друг другом случалось.

— Всё читаешь? — спросила его как-то вечером мама. — Глаза испортишь...

— Не твоя забота, — нахмурился отец.

— Что-то поздно ты за чтение взялся.

— В детстве не успел.

Мама ничего не ответила. На этом разговор, как будто, окончился, но я понимал, что он продолжается.

Благодаря чтению отец забросил свои полочки и этажерки. Как-то в воскресенье мама проговорила, ни к кому не обращаясь:

— Сегодня я на базар не пойду.

Отец вопросительно посмотрел на маму.

— Не с чем идти, — вздохнула она.

Отец тоже вздохнул, но промолчал.

Между прочим, он и Нюру пытался приохотить к истории.

— На-ка, почитай... Хорошо написано.

Сестра взяла книгу, повертела в руках и фыркнула:

— Киевская Русь... Грекова? Неужели это тебе интересно?

— Очень даже... Как же — наша, Русская земля.

— И всё ты понимаешь?

Отец серьёзно покачал головой:

— Не всё... Приходится у Кирилла Петровича спрашивать...

Однажды он отодвинул книгу, поправил очки и строго спросил

Нюру:

— В каком году Курбский бежал в Литву?

— Не знаю, — усмехнулась сестра.

— Почему? — ещё строже продолжал отец.

— Забыла, а может быть, не проходили...

— Как же это не проходили?

— Сдался тебе этот князь? Ну сбежал и сбежал, подумаешь — важность...

— Свою-то историю мы должны знать? Или не должны?

— Должны, — согласилась Нюра, — но всех пустяков в голове не удержишь...

— Письмо Грозного Курбскому — это не пустяк... Вот Кирилл Петрович наверняка знает, в каком году...

— Ну и спрашивай у него, — дёрнулась обиженно сестра.

— Мне надо, чтоб ты знала... А он — само собой... Он всё знает...

А Кирилл Петрович и правда всё знал.

Авторитет его вырос, особенно после одного случая. Отец купил словарь иностранных слов. И, конечно, сразу же похвастался перед Кириллом Петровичем своим приобретением, но тот не разделил отцовской радости, даже удивился:

— Зачем он вам?

— Как зачем? Слова незнакомые смотреть. Хотел и вам купить.

— Мне он не нужен.

— Почему?

— Слова я и так знаю.

— Все?

— Все.

— Не может быть, — усомнился отец.

— Можно проверить, — предложил Кирилл Петрович.

Я помог отцу выбрать из книги слова позаковыристей, каких Кирилл Петрович наверняка не знал.

— Что такое «ихтиоз»?

— Кожная болезнь, — отвечал, не задумываясь, Кирилл Петрович.

— А «манганит»?

— Минерал с содержанием марганца.

Мы с отцом тщательно проверили его ответы. И «ихтиоз» и «манганит» он объяснил правильно. Затем мы выкопали слово, которого он уж никак не мог знать: «рудбекия». Я такого чуда сроду не слыхивал... А Кирилл Петрович сразу ответил:

— Южно-американское растение.

После «рудбекии» дальнейшие испытания производить мы не стали. И без этого ясно. Что Кирилл Петрович лицом в грязь не ударит.

Когда Кирилл Петрович ушёл, отец тихо, но значительно произнёс:

— Вот голова так голова! Просто электростанция...

И я был с ним вполне согласен.

Отца в семье у нас побаивались. «Смотри, скажу отцу!», «Отец тебя выпорот!» — частенько слышал я от мамы. Но я рано понял, что это только угрозы — отец за всю жизнь меня пальцем не тронул. Один только раз он проявил свою власть. И всё получилось из-за голубей. С чего началось — я не помню, но суть была в том, что Гриша забросил учёбу, не выполнял домашних заданий и нахватал «неудов». Целыми днями он пропадал у нас на чердаке и на крыше. Там он возился со своими голубями: «гонял» их, заманивал чужих, менял. Продавал, покупал, т.е. стал заправским голубятником. Отец стыдил Гришу, увещевал, убеждал, а потом вдруг вспылел, да так, что все в доме притихли. Он ворвался на чердак и через слуховое окно повыкидывал всех голубей наружу. Гриша умолял его, хватал за руки, но отец оказался непоколебимым. Так в какие-то пять минут было покончено с Гришиным увлечением. Из девятнадцати домой вернулись только три голубя.

Гриша плакал и говорил, что никогда не простит отцу такого самоуправства. Но оказалось, что есть в жизни кое-что посерьёзнее

голубей. Через несколько дней обида забылась, а главное, после этого Гриша стал учиться намного лучше.

Однажды отец велел мне:

— Пойди к Кириллу Петровичу и попроси у него «литературную газету».

Я поднялся по лестнице наверх и застыл от удивления. Перед Кириллом Петровичем стояла наша Нюра и завязывала ему галстук.

— Вот так, — говорила она тихо. — Что здесь мудрёного? Всё очень просто...

— А откуда ты умеешь? — спросил он.

— Тебе это знать не обязательно.

Меня поразило, что она говорит ему «ты». Осторожно, чтобы они не услышали моих шагов, я спустился вниз.

— Где же газета? — спросил меня отец.

— У него нет, — ответил я.

— «Литературную газету» приносили сегодня, — заметила мама.

— Он сам читает.

— Так как же понять: нет газеты или он читает?

— Читает, читает, — поспешно сказал я.

Незаметно внизу появилась Нюра. А может быть её отсутствие нарочно не замечали. Во всяком случае, на другой день я убедился, что взрослые знают что-то такое, чего не знаю я. Отец и мама тихо переговаривались.

Мама: — Он старше её чуть не вдвое.

Отец: — Её дело — старше он или моложе.

Мама: — И образование: он учитель, книгу пишет, а у неё всего-то десять классов.

Отец: — Будет учиться...

О ком шла речь? Об этом я узнал позже, когда мама и Нюра говорили, думая, что я их не пойму.

Нюра: — Что ты против него имеешь? Скажи прямо.

Мама: — Не по себе дерево рубишь.

Нюра: — Это не тебе решать...

Мама: — А кому же?

Нюра: — Здесь Костя!..

Вот так всегда — чуть разговор посерьёзней, меня считают маленьким, а как в ларёк за керосином, то большой.

Кирилл Петрович обычно обедал в столовой, а ужинал с нами. Однажды он почему-то не спустился к ужину. Мама сказала отцу:

— Кирилл Петрович просит руки нашей Нюрочки.

— Давно пора, — сказал отец, но так тихо, что услышал только я.

— Что ты там говоришь? — спросила его мама.

— Я очень рад.

Однако я нисколько не заметил, чтоб он радовался. Пришла Нюра, села на своё место.

— Поздравляю тебя, — сказал отец.

Нюра ничего не ответила, только тряхнула чёлкой.

— Где же он сам? — спросил отец.

— Сейчас...

Нюра побежала вверх. Через несколько минут Кирилл Петрович спустился вниз. Нюра тянула его за рукав.

— Ну, скажи, — подтолкнула она его вперёд.

— Ты уже сказала...

После этого отец и мать поцеловали Кирилла Петровича.

К щеке его приложился Гриша, а потом примеру всех последовал и я. Разговор пошёл о свадьбе, но Нюра объяснила, что Кирилл Петрович считает свадьбу пережитком прошлого.

— А как ты думаешь? — спросил отец.

— И я так же...

— Гм... А мы с мамой придерживаемся другого мнения...

— Мы регистрируемся, — сказала Нюра. — Разве этого недостаточно?

Отец хотел ещё что-то сказать, но сдержался.

Что касается меня, то мне хотелось настоящей свадьбы, такой, какая была у Киселёвых, что живут рядом. Молодые приезжали из ЗАГСа на извозчике и разбрасывали детям шоколадные конфеты. А потом в их доме были открыты все окна, слышались звон посуды и красивые, протяжные песни. Мы заглядывали в окна, раздвинув горшки с цветами. Сестра Лены Киселёвой краснела и улыбалась, а жених что-то говорил ей на ухо. А потом они при всех поцеловались.

Такую свадьбу можно было вспоминать и вспоминать, а у нас мало что изменилось, только теперь Нюра поселилась наверху, у Кирилла Петровича.

Недели через две Нюра заговорила со мной о Кирилле Петровиче.  
— Он ведь славный... Как ты считаешь? Очень умный. Нисколько не пьёт и не копит денег. И во всём справедливый. Правильно я говорю?

Я кивнул. Последнее время Кирилл Петрович начал мне нравиться. Хороший человек, ничего не скажешь: на день рождения подарил мне бамбуковую удочку с крючком и двухцветным поплавком.

\* \* \*

...В тот день мы поднялись раным-рано. О червях я позаботился с вечера — накопал их полную банку из-под кукурузы. Отец разрешил взять с собой Рыжика. Только предупредил:

— Смотри, убежит — не поймаешь.

Город ещё спал. Под нашими ногами скрипели деревянные тротуары. На Томи лежала ночная тишина.

Я был счастлив — в левой руке я нёс Рыжика, а в правой — настоящую бамбуковую удочку с красивым поплавком. Жалко, её никто не видел. Впереди двигались отец и Гриша. Кирилл Петрович остался дома — на рыбалку он любил ходить один.

На лодочной базе сторож отцепил нам самую хорошую лодку — называлась она «Тихая» и была покрашена в голубой цвет.

Эта поездка началась с большого для меня события. Когда мы размещались в лодке, Гриша сел было за руль, но отец приказал ему.

— Дай Косте, пусть поучится.

Гриша усмехнулся и молча уступил мне место. Я постарался не показать своей радости, хотя давно мечтал править лодкой.

На реке лежал лёгкий туман. Солнце ещё не взошло.

Я вёл лодку близко от берега, чтобы легче было идти против течения. Левое весло едва не задевало за песок. Я управлялся с рулём как опытный речник. Удивительное это чувство — ощущать, что лодка подчиняется каждому твоему движению.

Раз я был рулевым, мне предстояло выбрать место для переправы на остров. Я смотрел на лицо отца, но не мог угадать: пора уже или нет. Потом решился, поставил лодку наискось и скомандовал:

— Нажать!

Я знал, что и отец, и Гриша должны мне подчиниться, и они подчинились.

Мы перевалили... Место для стоянки выбрал тоже я. Хорошее место — маленький заливчик, песчаный пригорок и на нем густые заросли тальника. Палатку поставили почти у самых кустов.

Отец и Гриша взяли бредень и ушли на озеро. Я остался один. Вошло солнце. Заблестела вода. Прежде чем заняться рыбалкой, я натаскал хвороста для костра, потом только сел с удочкой.

Рыжик сперва не понял, в чём дело, но когда я вытащил пескаря, кот жадно съел его и уселся рядом со мной. Он внимательно следил за поплавком. Потом я поймал чебака. Рыжик раньше меня кинулся к нему. Так повторялось несколько раз. Насытившись, он перестал следить за поплавком, свернулся калачиком и уснул на песке, пригретый солнцем.

Было хорошо и тихо. Один только раз прошёл большой белый пароход на Томск, да где-то далеко протарахтела моторка. Всего я добыл двух окуней и штук восемь небольших чебаков. К обеду вернулись отец и Гриша и принесли ведро рыбы. Оба окоченевшие, с пупырышками на коже. Из нескольких рыбин сварили уху, остальных почистили и выпотрошили, чтобы отвезти домой.

После обеда мы спали в палатке на тальниковых ветвях. Я проснулся, лежал и думал, а Гриша с отцом всё спали. Потом и они проснулись. Гриша попросил у меня удочку и стал удить. Поймал всего пару ершей, рассердился и сказал, что моя удочка никуда не годится.

Когда солнце клонилось к закату, мы начали собираться домой. Сняли и сложили палатку, столкнули лодку на воду. Рыжик поместился на носу и подрёмывал с таким невозмутимым видом, как будто всю жизнь провёл в лодке.

Вниз спустились быстро. Лихо описав полукруг, причалили к базе. Сторож молча примкнул нашу лодку. На мостках нас ждали мама и Нюра.

— Ну наконец-то...

— Что случилось? — спросил отец.

— Война, Захар, — заплакала мама.

С кем война — можно и не спрашивать.

На следующее утро отец позавтракал рано и ушёл в военкомат. Он поцеловал каждого из нас и сказал:

— Провожать не надо.

Мы смотрели в окно, как он удалялся по Прибрежной улице, пока не скрылся из вида.

На столе осталась горка костей из чебаков, его чашка на блюдечке, рядом чайная ложка и корка хлеба. Нюра прибрала на столе, вытерла клеёнку тряпкой. Но не всё она прибрала. Уходя, отец оставил на подоконнике недочитанную книгу с закладкой на 143-й странице. Нюра хотела отнести её наверх, но Кирилл Петрович сказал:

— Не надо, Захар Петрович вернётся — дочитает.

Через неделю мы с Гришей снова поехали на то место. Сторож опять отцепил нам «Тихую» и спросил об отце.

— Не знаем, — отвечал Гриша, — куда-то отправили...

Место нашей прежней стоянки мы нашли сразу. Об отце почему-то не говорили, но всё напоминало о нём. И зола костра и следы его сапог на песке, которые не успел замести ветер, и серебристая чешуя на бревне, где он чистил рыбу...

Гриша взял свои удочки и ушёл куда-то вверх по берегу. Я остался, как в тот раз, один. Опять насобиравал хвороста, опять удил рыбу прямо около палатки.

...Дома нас ждало письмо от отца. Они вот-вот должны были отправиться на фронт.

\* \* \*

Мать, вытирая пыль, наткнулась на отцову книгу на подоконнике.

— Вот почитать бы... Да времени нет.

— Да ты и не поймёшь, — усмехнулась Нюра.

— Может, и не пойму, — добродушно согласилась мама.

Когда взрослые ушли, в комнату заглянул я. Попробовал почитать, но и правда ничего не понял. Каждое слово в отдельности вроде вполне знакомо, а вместе, как ни старайся, ничего не складывается. И тут до меня дошла одна простая вещь: отец намного умнее меня. Какой же тогда ум у Кирилла Петровича? Страшно подумать! Правда, я об этом открытии никому не сказал. Неожиданно Кирилла Петровича назначили директором Алмазовской средней школы. Помню последний вечер перед Нюриным отъездом. Отцово место оставалось пустым. На его стул никто не садился. Мама нам ничего не сказала — просто так вышло, словно сговорились. Кирилл Петрович жаловался в тот вечер:

— Как же не хочется принимать школу. Да и какой я руководитель? Ни дня не работал директором. Да я просто — напросто и не умею...

Мама обычно соглашалась с Кириллом Петровичем, во всём поддакивала ему, а тут вдруг решительно возразила. Это было так неожиданно, что все перестали есть и ждали, что будет дальше. Мама проговорила тихо, но твёрдо:

— Что значит — не хочу? Не умею? Ты думаешь, наши на фронте все хотят и всё умеют? Надо — вот и делают своё дело.

Нюра посмотрела на Кирилла Петровича вопросительно. Я тоже ждал, что он что-то скажет. Но Кирилл Петрович промолчал, только покраснел. На другой день они с Нюрой уехали. Мама объяснила мне коротко:

— Нюра не только наша. Теперь они с Кириллом Петровичем должны быть всегда вместе.

За ними из Алмазова пришла большая бричка, которую тянула пара лошадей. На улице закрапывал дождь. Бородатый возчик таскал связки книг, утирал рукавом пот с лица и говорил всё время:

— Не извольте беспокоиться...

Сверху книг он навалил две книжные полки и всё прикрыл брезентом. С собой они не взяли ни кровати, ни стола, ни стульев.

— Там всё есть, — объяснил Кирилл Петрович.

Запомнилось прощание с Нюрой: до того дня я и не подозревал, что она меня так любит. Я пошёл проверить — не забыли ли они чего нужного, поднялся в оставленную комнату, как вдруг услышал шорох позади. Оглянулся — на пороге стояла Нюра, протягивая ко мне руки. Она подошла и запустила пальцы в мои волосы:

— Если бы ты знал, как не хочется...

— Тогда оставайся с нами!

— Глупенький ты и совсем маленький.

И то и другое было очень обидным, но я понял, что сейчас не до обид, и сдержался. Сестра крепко поцеловала меня и убежала вниз. На прощание я подарил ей Рыжика. Мне кажется, она обрадовалась. Кирилл Петрович надел дождевик и предложил Нюре опробовать чёрный зонтик, который он ей недавно купил. Она взобралась на бричку, поставила у ног граммофон. Телега поехала вдоль улицы. Нюра сидела на брезенте и махала белым платком. Из-под полы её плаща выглядывали белые усы Рыжика.

\* \* \*

Осталась в памяти и школьная линейка первого сентября. Началось всё как всегда: выпускники дарили цветы первоклашкам, первоклашки посматривали на родителей, которые стояли в сторонке. Потом произнёс речь директор школы Иван Михайлович. Он объявил, что заниматься будут только младшие классы, а старшие будут ходить в пригородное хозяйство водников убирать картофель.

Ещё помню, Иван Михайлович сказал, что война скоро кончится и к зиме наши будут в Берлине. Тут уж мы долго ему хлопали, пока наша учительница, Ольга Петровна, не сказала: «Хватит!»

Мы, второклассники, тоже два раза ходили на поля. Правда, не копали картошку, а дёргали морковь. Ели её сколько хотели. Никто этого не запрещал, только предупредили, что нельзя уносить домой. Это несколько испортило удовольствие, потому что мне очень хотелось принести морковь маме и Грише.

\* \* \*

Наша мама не верила приметам, но всё же один раз, мне кажется, не обошлось без этого. На стене висели часы в дубовом длинном ящике. Они всегда шли и ни разу не ломались, и вдруг остановились в тот самый момент, когда отец ушёл из дома. Гриша хотел отнести их часовщику, который жил на нашей улице, но мама не позволила:

— Отец вернётся, сам починит.

На второй этаж, где прежде жили Кирилл Петрович и Нюра, мы почему-то старались не заходить. Посреди пола лежала газета. Помню, она пожелтела, но никто не поднял её. Без Нюры дома стало как-то пусто, и в середине сентября мы с Гришей отправились проведать её в Алмазово. До Алмазова от нашего города было недалеко — километров шесть-семь. Дорога шла вдоль реки Вильяйки, иногда открытыми полями. Дул сильный попутный ветер, шумел в березняке, срывал жёлтые листья. Когда подходили к селу, запомнилось красное заходящее солнце и такие же красные длинные облака, протянувшиеся вдоль горизонта.

Гриша сообщил мне под большим секретом о новом оружии нашей армии, о каких-то машинах, которые стреляют снарядами огромной разрушительной силы. Через несколько лет я догадался, что Гри-

ша рассказывал мне о знаменитых наших «катюшах». Но откуда он мог знать о них — в глубочайшем тылу, в сентябре сорок первого?

Жили Кирилл Петрович с Нюрой в большом пустом здании школы. (Занятия в старших классах, как и у нас, должны были начаться в октябре). Приняли они нас хорошо. Здесь я встретил Рыжика — он растолстел и стал важным. Он сделал вид, что не узнал меня. Когда я взял его на руки, он не выразил никакой радости и, по-моему, думал только о том, чтобы я оставил его в покое.

Ужин мне понравился, даже очень, хотя Нюра извинялась, что нечем угостить. Кирилл Петрович достал из погреба огромный спелый арбуз. Такой спелый, что чуть воткнёшь в него нож, он трескается и разваливается на части. Нюра подавала мне кусок за куском. Арбуз был сладкий, а чёрный хлеб кислый — вместе получалось такое — просто пальчики оближешь. Кирилл Петрович всё сетовал:

— Ты не стесняйся. Будь как дома.

А я и не думал стесняться... Потом он принёс кринку холодного молока и малосольных огурцов, пахнущих укропом. Жалко, что я уже наелся. Живот и так был как барабан. После ужина Гриша пошёл во двор покурить, а Нюра и Кирилл Петрович стали переговариваться, и я понял, что у них не всё так хорошо, как они старались показать. Запомнился разговор. Нюра говорила капризным тоном:

— Завтра пойдём в лес. Должны появиться опять...

— Их ещё нет.

— Ну и пускай, но я хочу в лес...

— В твоём-то положении?..

Нюра ничего не ответила, но я потом спросил её, что у неё за положение. Она, видимо, не ждала такого моего вопроса.

— Зимой ты станешь дядей...

И, видя, что я не понимаю, разъяснила:

— У меня будет сынок или дочка. Тебе хочется?

— Хочется, — подтвердил, хотя это неправда.

Всерьёз мне хотелось только, чтоб кончилась война и чтоб дома всё было по-прежнему. Поздно вечером, когда Нюра зажгла лампу, к Кириллу Петровичу пришла седая учительница. Сразу с порога она начала:

— Кирилл Петрович, а поостроумнее вы ничего не придумали?

- Что такое? — удивился он.
- Я никогда не вела математику...
- Поведёте.
- Но я всё-всё забыла.
- Вспомните.
- Нужны способности.
- Появятся.
- Но я не хочу. Понимаете — просто не хочу.

Кирилл Петрович посмотрел на неё строго и холодно:

— Что значит «не хочу». Такие слова забывать надо. Думаете, наши на фронте всё хотят всё умеют? Но надо — значит, делают своё дело... — И добавил: — Поймите, что больше некому.

После этого он перечислил всех мужчин-учителей, которые мобилизованы в армию.

— Звонил в РОНО — оттуда мне ответили: «Обходитесь своими силами».

Учительница усмехнулась:

- Это я-то сила?
- Сила и очень значительная.

Я считал, что они договорились, учительница вроде бы согласилась, но вдруг она отвернулась и заплакала. Кирилл Петрович нахмурился и прошёлся по комнате:

- Вот это уж ни к чему...
- Я больше не буду, — по-детски сказала учительница и ушла.

Ночевать Кирилл Петрович повёл нас с Гришей в пустой класс. Грише постелили на столе, а мне на полу. Гриша сразу уснул, а я сперва задремал, а потом очнулся и вдруг понял, что не усну. У меня так случается — не хочется спать и всё. Впрочем, на этот раз была причина. Мешали мыши — безвредный зверёк, ничего человеку сделать не может, но всё-таки немного боязно. Хотя бы одна. А то целых две: одна где-то под шкафом перекаtywала сухую корку, а другая грызла дерево в углу — может, прогрызла себе новый ход. Я попробовал вспугнуть их — хлопнул по полу ладонью и прошипел: «ш-ш-ш». Они на минуту умолкли, а затем опять принялись за своё. Сперва я хотел разбудить Гришу, но побоялся, что он поднимет меня на смех. Это была длинная, прямо-таки бесконечная ночь. Сперва я пробовал уснуть, но потом понял, что из этого ничего не выйдет, и подо-

шёл к окну. Оказывается, школа находилась недалеко от железной дороги. По высокой насыпи прошёл поезд. Отлично видны были окна вагонов и даже искры из трубы паровоза. Белел ствол берёзы, освещённый из окна. Потом этот свет погас и стал виден школьный сад. Звёзды не светили. Они были закрыты низкими облаками.

Я спустился вниз и вышел во двор. Откуда-то из дальней дали донёсся гудок паровоза. Потом он умолк и стали слышны удары капель начинающегося дождя о железную крышу. Когда я вернулся со двора и вошёл по лестнице на второй этаж, то никак не мог найти нужную дверь. Я заглянул в один класс, в другой и нигде не нашёл Гриши. Я вспотел от волнения, открыл какую-то дверь и решил хоть где-нибудь улечься спать, как вдруг заметил, что в углу стоит кто-то белый. Мне почему-то показалось, что это муж Нюры. Шёпотом я окликнул его:

— Кирилл Петрович!

Но он не откликнулся и не пошевелинулся. Я сделал шаг или два вперёд и вдруг увидел, что это не Кирилл Петрович, а скелет человека. Он смотрел на меня темными впадинами глаз и скалил зубы. Я кинулся от него прочь. От страха не сразу нашёл дверь, всё натыкался на какие-то шкафы. Наконец, выскочил в коридор. Тут виднелся тёмный силуэт человека. Это был Кирилл Петрович.

— Не спится? — спросил он.

— Угу, — промычал я.

Теперь-то я понял, что попал в кабинет биологии, у нас в школе был такой скелет, и он тоже стоял в углу. Утром мы попросили Нюру, чтобы она завела граммофон. Вместо неё ответил Кирилл Петрович:

— Граммофон не играет. При переезде сломалась мембрана... Там пустяки, надо будет как-нибудь припаять...

(Надеясь, что он исправит граммофон, я позже наточил на бруске десятка два иголок. Услышать голос этого граммофона стало моей мечтой, но мечта эта так и не сбылась).

Запомнилось также наше возвращение домой. И не всё возвращение, а только кусочек. Где-то на полпути мы присели отдохнуть на поваленную ветром осину. Откуда она взялась на берегу Виляйки? Кругом рос только кустарник. Вершина осины касалась воды, а ствол лежал на берегу. Гриша молча смотрел на воду, а я сидел рядом. Плеснула большая рыба, и по тихой воде пошли круги.

— Вот тут карась хорошо клюёт, — проговорил Гриша. — Один раз я здесь десять штук взял...

Этот случай я помнил. Мама пожарила тогда их в сметане. Превкусные были караси, только очень уж костистые.

Так закончился наш поход в Алмазово.

\* \* \*

В феврале мама ходила в Алмазово и, вернувшись, сказала, что Нюра родила девочку, которую назвали Светой. Теперь я стал дядей... оказывается, и второклассники могут быть дядями.

От отца мы получили письмо — их часть стояла на отдыхе. Он сообщил, что видел пленных немцев, обутих в огромные, сплетённые из соломы валенки. Мама и я сразу написали ему о всех наших домашних новостях. Однажды, в начале марта, кто-то постучал в ставню. Вошла нНюра, вся в снегу, худая-прехудая, со Светкой на руках. Светку положили на кровать и перепеленали.

— Мама, — сказала Нюра, — Кирилл ушёл на фронт. Я решила до конца войны жить у вас. Господи! — воскликнула она. — Я же ведь не одна... Совсем забыла.

Не одеваясь, она выбежала на улицу и привела старика в широченном тулупе и с кнутом.

— Вот — Степан Иннокентьевич... Наш возчик.

— Степан Иннокентьевич уже были у нас, взгляделась мама в старика. Вспомнил его и я. Он и сейчас всё время улыбался и заискивающе говорил:

— Не извольте беспокоиться...

Степан Иннокентьевич принёс со двора замёрзший фикус и узел с какими-то вещами.

— Вот и всё, что мы нажили, — засмеялась Нюра.

— Какая важность, — махнула рукой мама.

— И правда, кивнула Нюра, — не в этом счастье.

— А граммофон? — спросил я.

— Граммофон? — Нюра помедлила, наморщила лоб. — Не помню, где он...

— Я дарил тебе Рыжика, — напомнил я.

— Рыжик остался в Алмазове, — отвечала она, — он там единственный кот на всю школу. Будет охотиться на мышей.

Нюра погладила меня по плечу, и я понял, что спрашивать больше ничего не надо. Она рассказала, что Кирилл Петрович сразу после нашего посещения был мобилизован. Все книги Нюра отдала в школьную библиотеку, а домой привезла только фикус, Светланкины пелёнки и незаконченную рукопись Кирилла Петровича.

Возчика напоили чаем и хотели оставить ночевать:

— Куда на ночь глядя, да в такую метель?

Но старик настоял на своём:

— Не извольте беспокоиться... Лошади сами дорогу знают... и уехал.

Так сестра стала опять жить у нас.

\* \* \*

Весной сорок второго года Гриша ушёл из школы и поступил работать на фабрику, сперва учеником, а потом фрезеровщиком. А летом получил повестку. Когда он увидел её, то схватил меня под мышки и крутанул вокруг себя. Я попросил:

— Ещё!

Он крутанул ещё раз, я задел ногами спинку стула. Стул опрокинулся. На шум пришла мама.

— Что это вы развоевались?

— Вот! — показал Гриша повестку.

Мама стала очень грустная и весь вечер молчала. И мне и Нюре тоже жалко было расставаться с Гришей. Я спросил его:

— Тебе дадут автомат?

— А как же!

Вот тогда я понял, что Гриша теперь совсем взрослый человек. Я напомнил ему:

— Ты обещал мне сделать самокат.

— Вернусь — сделаю.

Посмотрел на меня и похлопал по плечу:

— Ну чего, Федул, губы надул? Немцев надо прогнать. Никто за нас этого не делает.

На другой день мама, я и Нюра со Светкой пошли провожать Гришу. Полдня сидели на затоптанной, повядшей траве против кирпичного здания военкомата. Здесь же почему-то оказалась девчонка

из соседнего дома — Лена Киселёва. Она села вместе с нами, и Гриша держал её за руку.

Потом с крыльца военкомата сошёл военный, приказал мобилизованным построиться по росту в один ряд. В руках он держал список и выкрикивал фамилии и имена. Когда он назвал: «Агеев Григорий Захарович!» — Гриша звонко откликнулся:

— Я...

Ох как было завидно. Как хотелось, чтоб крикнули: «Агеев Константин Захарович!»

Потом мобилизованных построили в колонну по четыре и куда-то повели. Мы сперва остались на месте, затем догнали колонну и пошли в толпе женщин. Так дошли до Красных казарм на краю города, и на прощание Гриша помахал нам рукой. С утра было холодно, и потому он надел своё чёрное драповое пальто, но к обеду стало жарко, он расстегнул его. Таким он и запомнился мне: с росинками пота на лбу, в расстёгнутом пальто, между расходящимися полами которого виднелась белая рубашка. Некоторое время мы постояли перед окнами казарм, но Гришу не увидели и пошли домой. Пошла с нами и Лена. Дома меня отослали наверх, где теперь жила Нюра со Светкой, и я слышал, как внизу мама и Лена всхлипывали и утешали друг друга. А когда Лена уходила мама поцеловала её.

Лена приходила к нам ещё несколько раз. Вместе с мамой они читали Гришины письма, которые приходили из Омска. Он писал, что учится на зенитчика и скоро уедет на фронт.

Ходить в десятый класс Лена не стала, поступила официанткой в столовую водников. Как-то она встретила меня и спросила:

— Почему не заходишь?

Я не знал, что ответить, потому что не понял, куда заходить: в столовую или к ней домой?

\* \* \*

Перед самой зимой к нам приехал завод из-под Москвы. Мы, пацаны, бегали на станцию встречать составы со станками и каким-то непонятным оборудованием. Хотели помочь сгружать с платформ машины, но нас прогнали... Завод обосновался в бывших красных казармах...

Тогда же у нас начались несчастья. В это время перестали приходить письма от папки. До этого его коротенькие письма мы полу-

чали каждый месяц. А теперь он вдруг замолчал... Мама ходила в военкомат, но там ей ничего не смогли сказать.

Пришло известие, что Гриша погиб под Наро-Фоминском, а немного позднее умерла Светка, и тогда же пришло сообщение, что в госпитале в Саратове скончался от ран Кирилл Петрович.

Света умерла в декабре. Не могу вспомнить, какого числа.

Конечно, было ещё что-то — наверно, приходили врачи, давали какие-то лекарства или делали уколы. Это не осталось в памяти. А запомнилось вот что: утром Нюра не спустилась к нам. Мама позвала её, но наверху всё оставалось тихо. Позвала ещё раз, а потом сама поднялась по лестнице. Через минуту послышался крик мамы. Запомнилось также, как маленький беленький гробик несли на кладбище. Наша соседка, высокая, похожая на мужчину, несла гробик перед собой на длинном вафельном полотенце, завязанном наискось через плечо. Ей было тяжело, по лицу её струился пот, но она не уступила никому.

Кладбище было равниной, почти без деревьев. Лес крестов и памятников. В гробу видно было только стеариновое личико, в искусственных бумажных цветах, с очень длинными ресницами.

Когда Светка умерла, мама предложила Нюре:

- Переходи к нам вниз.
- Мне и одной неплохо.
- Скучно же одной.
- Нет.

Отвечала она намеренно коротко. Чтобы не вступать в пререкания. Но что она делала там наверху? Не раз я прислушивался — сверху не доносилось ни звука. Нюра не ходила, не передвигала стулья, не плакала. Казалось, даже не дышала. Но так она выдержала недолго. Через несколько дней сказала:

— Мама, я пойду работать, а то так с ума сойти можно.

Мама одобрила желание Нюры, и сестра поступила работать на эвакуированный завод. Уходила на завод она ещё в темноте, а приходила поздно вечером.

— Что ты там делаешь? — как-то поинтересовался я.

Нюра усмехнулась:

- Что делаю? Об этом не положено говорить. Даже братьям...
- Интересно?

— Нет. Это не по мне... Но ведь надо.  
На этом и кончился наш разговор о её работе.

\* \* \*

В начале сорок третьего управдом явился к нам и предложил: «Осlobоните помещение. Здесь поселятся эвакуированные». Речь шла о верхнем этаже, где жила Нюра. Помещение мы освободили, мама даже побелила комнату, чтобы люди не подумали, что мы грязнули.

Я почему-то представлял себе, что эвакуированные приедут на грузовой машине, будут носить множество всяких вещей, но получилось совсем не так. Кирьяковы пришли пешком. Это были Лариса Антоновна и двое её детей. Серёжа, одного со мною возраста, и Зоя, на два года младше, — на детских маленьких костылях. И вещей у них почти не было: ни кровати, ни стола, ни стульев. Был только один чемодан с оторванной ручкой. Скоро многие наши вещи перекочевали к Кирьяковым — кастрюли, тарелки, ложки, не говоря уже о том, что оставила в своей комнате Нюра: кровать, стол, стулья...

В это время мама пошла работать на мебельную фабрику. Вначале она хотела на фрезерный станок, на котором прежде работал Гриша, но дело у неё почему-то не пошло, может быть, просто не хватало сил ворочать шаблоны, поэтому она стала в этом цехе уборщицей. Каждый день она приносила мешок стружек, и мы ими топили железную печку внизу. Топливо это было плохое — стружки быстро прогорали, а тепла с них — кот наплакал. Иногда даже не успевала свариться картошка. А Кирьяковы совсем не топили свою печь, правда, от нас всё тепло поднималось к ним.

Однажды мама принесла с фабрики толстую берёзовую чурку, чтобы положить её в печь. Однако мне жалко было тратить её на такое дело — из неё мог получиться отличный линкор. Мы с Серёгой выпросили её у мамы и, не теряя времени, принялись за работу. В ход пошёл отцов инструмент, который мама перенесла из избышки домой. Корпус корабля получается сразу, хуже обстояло дело со всякими палубными надстройками. Нужно было где-то раздобыть хорошую картинку линкора, чтобы всё было как у настоящего корабля. Вот из-за картинки-то строительство приостановилось.

На нашей фабрике к этому времени произошли большие изменения — открылся «спеццех» — там стали делать ложки для автоматов, а в остальных цехах тоже теперь изготавливали новую продукцию — лыжи для наших войск. Поговаривали даже, что вся наша фабрика станет военным заводом, но почему-то этого не сделали.

После смерти Гриши мама вдруг как-то постарела — появились седые волосы и стали трястись руки. Она решила продать Гришины вещи и купить машину угля. Нам с Нюрой такой план не понравился — не верилось, что Гриша никогда не вернётся и его вещи ему уже не понадобятся. Всё же мы отправились на «барахолку». Я помог донести вещи: выходной костюм Гриши, его валенки, старые брюки, шапку из кроличьего меха и романовский полушубок. Нюра всё это «добро» разложила на столе. Я ходил грелся, а она стояла и мёрзла. Торговля у неё пошла не очень-то бойко. Точнее сказать, почти не сдвинулась с места. Нюра оказалась никудышным продавцом — ни на одну вещь не хотела сбавить цену. Сколько сказала мама, на том она и стояла, а за такую цену никто не брал. В общем, продали только валенки. Когда уже темнело, совсем продрогшие, вернулись домой. Мы думали, мама будет нас упрекать, но она неожиданно сказала:

— Вот и хорошо, что не продали...

Значит, и неё была мысль, что Гриша ещё вернётся. Ведь бывают же ошибки.

Это всё было до Кирьяковых, а когда приехала Лариса Антоновна с детьми, мама стала говорить им совсем другое:

— Берите всё... Если Гриша придёт — наживём. Мы не безрукие...

Всё пошло в ход, потому что у Кирьяковых совсем ничего не было. Только серый костюм Гриши мама спрятала опять в сундук:

— Пусть лежит.

Перед тем как отдать Гришины вещи, мама осматривала их. В старых брюках она нашла два билета с неоторванным контролем. Пятый ряд, четырнадцатое и пятнадцатое места. Припомнили, что перед самой войной в клубе водников выступала труппа артистов из Томска... А до этого Гриша вечерами стал куда-то уходить. Уйдёт и долго не возвращается. Отец как-то спросил его:

— Так на улице и стоите? Пригласил бы её в клуб. Как раз «Любовь Яровая» идёт.

Мы не поняли — о чём отец. А Гриша понял. Покраснел и спрашивает:

— А ты денег на билеты дашь?

— Ясное дело... Как звать-то её?

— Леной.

— Киселёва?

Гриша кивнул. На другой день он пошёл и купил билеты, но произошла беда. Когда нужно было идти в клуб, билеты вдруг исчезли. Гриша всё перерыл — и тетради на столе, и все книги перелистал, и даже в мой ранец заглядывал — они как в воду канули. И вот теперь нашлись в старых брюках. Так Гриша и не узнал, куда они запропались. Эти билеты почему-то расстроили маму. «Матроску» Гришину отдала, первые его сапоги, пальтишко детское — и ничего. А никому не нужные билеты довели её до слёз.

Лариса Антоновна взяла все вещи и спросила:

— Сколько с меня?

— Нисколько, — обиделась мама.

Первое время странно было видеть Серёжку в Гришиных брюках. Хотя Лариса Антоновна и перешла их, но всё же видно было, что они не его. Сама она стала ходить в Гришином полушубке и шапке. А детские Нюрины вещи пошли Зое...

\* \* \*

До Кирьяковых было как-то скучно, а приехали они, и стало не то чтобы весело, а совсем по-другому. Раньше наверху жила одна Нюра, и её не было слышно, а Кирьяковы давали о себе знать с раннего утра. Зоя поднималась раньше всех. Стучали о пол её костыльки. Еле слышно шелестели лёгкие шаги Ларисы Антоновны. Затем раздался крик Серёги — это Зоя стаскивала с него одеяло. Между прочим, они часто дрались. Серёга был мальчишка и на два года старше её, но Зоя не поддавалась. Во время драки она становилась на коленки, наступая на него, размахивала костыльком. И он отступал. Нюра теперь поселилась вместе с нами и говорила, что Кирьяковы приехали очень кстати — наша семья теперь как будто стала такая же, как прежде, но, конечно, это было не так — ни на минуту мы не забывали о папке, Грише и Кирилле Петровиче.

Пока не было снега, Зоя добиралась до школы на костылях. Ходила она с их помощью неумело и медленно, а когда выпал снег, мы с Серёгой стали сажать её в санки и мчали по улице, как заправские рысаки.

Я подружился с Серёгой Кирьяковым, несмотря на то, что он был везучий, а я нет. Что он был везучий, я убеждался не раз. Взять хотя бы такой случай. Наша Прибрежная улица — не простая. Говорят, здесь давным-давно проходил защитный вал. От кого именно защищал этот вал город, точно не знаю. Кажется, от каких-то кочевников. Теперь от вала ничего не осталось, но нет-нет да и напомним Прибрежная улица о прежних боях. Ещё летом Серёга копал червей и нашёл костяной наконечник стрелы. Он обменял его у мальчишки из седьмого «б» на сто пятьдесят граммов хлеба. Конечно, Серёга продешевил.

...Когда выпал снег, каждый день было одно и то же: мы с Серёгой довозили Зою до школьного крыльца, помогали ей взобраться по ступеням до двери, а санки прятали в сарай. А потом у моего друга случилась ангина — такой счастливчик: сидел дома и читал «Остров сокровищ», а Зою стал возить один я. Стало, конечно, тяжелее, но не в этом дело.

В перемену Щёткин из четвёртого «в» начал нас дразнить «женых и невеста». Глупо, конечно, будь у неё обе ноги в целости, я бы и не подумал её возить. Да какая Зоя невеста — маленькая-премаленькая. Она сказала Щёткину:

— Подойди поближе!

Я понял, что Зоя собирается огреть его костылём. Понял и он. Засмеялся:

— Что я, дурак, что ли?

— Испугался? А ещё мальчишка... Чёрт с письмом!

— Дура набитая!

Зоя пыталась достать его костылём, но потеряла равновесие и упала. Тут вмешался я: мы сцепились со Щёткиным и покатались по полу. Ребята из нашего класса хотели за меня заступиться, но я крикнул, чтоб не вмешивались, что сам справлюсь. Не пойму, откуда взялась такая уверенность, что я побью Щёткина. И я побил бы, если б нас не разняли. Откуда ни возьмись, появился дежурный учитель с красной повязкой. Нас он повёл к директору — это был мой первый разговор с Иваном Михайловичем. Мы с ним ещё не

были близко знакомы, но Нюра очень хвалила его. Он у них когда-то вёл географию. Тогда ещё кабинет директора был похож на кабинет: письменный стол, на столе телефон, огромная-преогромная мраморная чернильница (рабочий с отбойным молотком), позади стола — окно с шелковыми шторами, а левее — большая белая изразцовая печь.

Иван Михайлович усадил нас в мягкие кресла. Если б стояли перед ним — ещё куда бы ни шло, а сидя в кресле, не соврёшь — это я сразу понял. И спрашивает так вежливо-привежливо:

— Подрались, значит?

Мы оба не стали отрицать этого факта.

— В чём же причина драки?

— Он дразнится...

— Он тоже дразнился, — вскипел Щёткин.

Я очень боялся, что Иван Михайлович поинтересуется, как именно мы дразнились, но он этого уточнять не стал, спросил только, обращаясь к нам обоим:

— Но вы понимаете, что это нехорошо?

Мы дружно подтвердили, что понимаем. Щёткин уже не мог говорить — он вот-вот готов был разнюниться. Я же смог произнести вполне понятное: «Да». Я чувствовал себя правым, потому что он первый задибался. После этого Иван Михайлович нас отпустил. В коридоре Щёткин показал мне кулак и пригрозил:

— Ты у меня ещё получишь...

Но меня не так легко было напугать.

— Чёрт с письмом, — крикнул я, и мы снова схватились у дверей директорского кабинета.

«Чёрт с письмом» — я знал, что этого прозвища Щёткин не переносит. Большой перед ним или маленький — ему всё равно, налетает с кулаками на обидчика. И все знали, почему у него такое прозвище. Однажды ребята соорудили на берегу Томи трамплин. И, конечно, нашлись среди учеников такие «артисты», что перестали ходить на уроки, а целными днями торчали на этом трамплине. И дежурного учителя посылали, и уборщицу со звонком, и дворнику велели трамплин сломать — всё бесполезно, прыгают мальчишки да и только. И вот приходит однажды в школу мать Щёткина. Является в перемену к классному руководителю:

— Как мой Ваня, как ведёт себя?

Классный руководитель отвечает:

— Ваш Ваня третий день в школу не ходит.

— А где же он?

— Должно быть, на трамплине...

— Ах, чтоб ему пусто было!

Неясно, к кому это относилось — к Ване или к трамплину. Бежит Щёткина мать к реке. Торопится, чуть не падает. «Подбегаю, — сказала потом, — глянула наверх, а он руки расставил и летит на меня, как чёрт с письмом». Почему «с письмом» — непонятно, но бывает так — чем непонятней, тем лучше прозвище. Ване на этот раз пришлось плохо. Приземлившись, он попал в руки своей матери. Она ему всыпала от души, отобрала лыжи и дома изрубила их в щепки. Но лыжи — полбеда, — через неделю он уже смастерил другие, хуже прозвище — «чёрт с письмом», оно крепко прилепилось к Ване Щёткину.

Между прочим, обидными бывают не только прозвища. Взять, хотя бы, Зою. Она по секрету сообщила мне, что её настоящее имя не Зоя, а Изольда. Нет, конечно, она никакая не немка — просто папе понравилось такое красивое имя из какой-то немецкой сказки. Это было ещё в те времена, когда немцы не воевали с нами. Конечно, можно было уже тогда предполагать, что война будет, но папа не предположил и назвал девочку так, как называть не надо было. Зоиней вины в этом никакой нет, и все же она всем говорит, что её зовут Зоей. Так её все и называют. Только иногда, когда Серёжке очень хочется её подразнить, он кричит Зое:

— Изольда! Изольда!

Тогда она бросается на него. Глаза у неё так и готовы выскочить. Я даже не думал, что девчонки бывают такими злыми.

— А ты, если хочешь быть моим другом, никогда не называй меня Изольдой. Понял?

Что ж тут не понять — дело ясное.

Примерно в это же время произошёл мой второй разговор с директором школы Иваном Михайловичем. Первый случай (драка со Щёткиным) в его памяти, может быть, и не удержался, но второй, как я потом убедился, он запомнил крепко. И почему-то всё получилось, что я поворачивался к нему своей плохой и даже глу-

пой стороной. Видно просто не везло мне. Ведь был же я одно время почти отличником — во всяком случае, фотография моя висела на доске Почёта, а сверху была надпись: «Берите с них пример!» По всем предметам у меня было отлично, только по пению красовался «пос». Но этого «пса» я получил вовсе не за пение. Я дернул впереди стоявшую девчонку за бантик. Так она из-за этого несчастного бантика даже заплакала, как будто я голову ей оторвал. Знал бы, что она такая вредная, не связывался бы...

Так вот о случае. Дело было под Новый год. Все ребята в зале смотрят на сцену, а мы с Серёгой давай бродить по школе. В одном классе на доске страшную рожу нарисовали, в другом — мусорную корзину на учительский стол поставили, а в третий вошли и не знаем, что предпринять. А натворить что-нибудь хочется. Так хочется, что прямо сказать не могу. Тут Серёга говорит:

— Давай посмотрим, что на печке находится?

Печка круглая, железом обитая, высокая, почти до самого потолка.

— А как мы туда залезем? — посомневался я.

— Пара пустяков, — отвечает Серёга. — Вот смотри!

Прыг на парту. С парты вскарабкался на шкаф, со шкафа рукой подать до верха печи. Влез и меня зовёт:

— Айда сюда. Здесь интересно.

Ну конечно, я за ним. Мне немного труднее пришлось, я — пониже. Но всё же забрался. Осмотрелись. По правде сказать, ничего такого интересного. Но кое-что есть. Во-первых, наверху печи что-то вроде ямы, глубокая впадина, вся забрызганная извёсткой и покрытая слоем пыли в палец толщиной.

Во-вторых, кое-что из вещей: расщепленное перо № 86, дырявый мячик и пожелтевшая бумажная галка с надписью: «Костя дурак!!!» Серега как прочёл, так и задохнулся от смеха.

— Это, — говорит, — про тебя...

— Нет, — нашелся я, — я в этом классе еще не учился.

Вдруг слышим шаги. Кто-то входит в класс и раздается голос самого Ивана Михайловича:

— Кто здесь?

Мы молчим, притаились, шевельнуться боимся. Но его не обманешь. Он говорит нарочно громко:

— По-моему, на печке кто-то есть...

Мы опять молчим. А он продолжает:

— Ну что ж — никого. Значит, мне показалось. Тогда я потушу свет и запру дверь на ключ...

Мы смекнули, что дело принимает плохой оборот — сидеть в пустом классе до утра нам не улыбалось. Серёга откликнулся:

— Это мы!

Теперь не оставалось ничего другого, как слезть. Слезли и встали перед Иваном Михайловичем. Мы ждали, что он станет распекать, говорить о совести и так далее, а он только осмотрел нас и покачал головой:

— Хороши, нечего сказать...

А мы и правда были хороши — все с ног до головы измазаны известкой и пылью. А в руках у Серёги еще дурацкая бумажная «галка».

— И как это вас угораздило на печку попасть?

Что мы могли ответить? Попадают же альпинисты на самые высокие пики. А зачем, спрашивается?

Уже на пороге он резко обернулся и сказал очень строго:

— Приведите себя в порядок.

Так нам в этот вечер и не удалось посмотреть, что делалось на сцене — весь остаток вечера мы только и делали, что плевали на ладони и стряхивали пыль со штанов и рубашек.

Так произошло моё второе «свидание» с Иваном Михайловичем.

\* \* \*

Когда начал таять снег, Нюра взяла лопату и отправилась на кладбище подправить Светкину могилу. Мама убеждала её, что рано, но разве Нюра слушает? И я увязался с ней, вернее, не увязался, а мама шепнула мне:

— Сходи с ней... Мало ли что?

Не знаю, чего она опасалась, но понял, что мама считает меня взрослым.

До кладбища мы шли молча. Так же молча стали ходить между могилами. Потом Нюра села на заметенную снегом скамью. И я пригнулся рядом. Мы оба очень устали. Кладбище находилось далеко, а сил у нас было совсем мало. Потом опять долго ходили и искали

Светкину могилу, но найти так и не смогли. Когда-то она была с краю, а теперь здесь было много новых могил. Наконец Нюра сказала:

— Ничего мы не найдем. Всё замело...

Второй раз мы пошли, когда совсем растаял снег. И опять не нашли. Наткнулись на одну похожую. Нюра даже стала подправлять, а потом бросила:

— Нет, не эта... Там рядом черемуха росла.

И тут Нюра заплакала. До тех пор я никогда не видел её слез. Может быть, это и случилось с ней, когда она была маленькая, но меня самого тогда не было.

У переезда Нюра остановилась, достала платок и вытерла лицо. Ещё раз пошли в конце мая, вместе с мамой. По лицу Нюры и по тому безразличию, с каким она шла, я понял, что на этот раз она ни сколько не надеется найти, а идет так просто, потому что надо идти. Мама же почему-то была уверена, что найдет могилку. Она заранее припасла какие-то продолговатые луковички, чтобы посадить на могилке. Нюре сказала:

— Возьми лопату.

— Тот раз зря носила...

— Возьми.

Мама и правда нашла. Не плутала по кладбищу, не искала, а сразу привела нас куда надо, к цветущей черёмухе. Светкина могила опустилась и почти сравнялась с землёй. Мама насыпала новый холмик, посадила луковицы и сказала, что летом расцветут лилии. Тут Нюра заплакала ещё раз — теперь от радости, что нашли Светкину могилку.

\* \* \*

Мать Серёжи и Зои — Лариса Антоновна — была много моложе моей мамы и потому у нас в семье её звали просто Ларой. Месяц она искала работу по специальности, но стенографистки нигде не требовались и в конце концов поступила работать на нашу мебельную фабрику. Жаловалась моей маме, что потеряет скорость... Непонятно, как это можно потерять скорость? Что она, шофёр, что ли?

Мама успокаивала её как могла:

— Скорость — дело наживное... Вот вернёшься домой...

— Всё равно без Миши...

Это Лара говорила о муже. О нём она тосковала и часто плакала:

— Не могу представить, что его нет. Как я буду жить?

Мама неумело успокаивала:

— Так и будешь жить, пока не помрёшь.

Лара продолжала жаловаться:

— Никому я не нужна...

Мама спокойно возражала:

— Всем нужна. И Серёже, и Зое, и нам...

Серёга рассказывал мне, как погиб его отец. В первый же день войны, в Минске, их отца убило немецкой бомбой, а Зое раздробило ступню правой ноги. (Как-то я спросил её, кем она собирается стать. Она ответила мне: «Как мама — стенографисткой» и показала книжки с какими-то мудреными значками.)

Когда Зоя играла с нами, то отбрасывала свои костыльки в сторону и так увлекалась, что забывала о своем увечье. И мы делали вид, что она ничем от нас не отличается — играли даже в догоняшки, она бегала на четвереньках и хохотала, когда ей удавалось схватить кого-нибудь из нас. Конечно, мы немного поддавались, но так, чтобы она не замечала. Беда, если мы не умели этого скрыть. Тогда она сердилась, кидалась драться и кричала:

— Бессовестные! Как вам не стыдно?!

\* \* \*

И вдруг — великая радость! Пришло письмо от отца. Он был ранен в плечо. Сейчас писал из госпиталя. Мы всей семьей написали ему ответ — описали все подробно, только ничего не написали о гибели Гриши. Пусть он пока думает, что сын тоже сражается с общим врагом...

\* \* \*

Ещё до уроков по всем классам разнёсся слух, что школу забирают под госпиталь. Помню, мы гордились, что наша школа оказалась подходящей для такого важного дела (значит, и мы немножко воюем!) И вместе с тем было её жалко.

Уже во время первого урока в наш класс вошли двое военных и с ними Иван Михайлович. У Ивана Михайловича было растерянное выражение лица. Из военных один был высокий, с молодым лицом,

но совсем седой. Говорили тихо, но мы всё же слышали, как тот, который пониже, прошептал:

— Белить будем заново.

— Конечно.

— А как общее впечатление?

Высокий военный произнес:

— Пойдёт...

И это короткое слово решило судьбу нашей школы.

Перевозили всё имущество на лошадях. Старшеклассники грузили на телеги парты и шкафы. При этом они держались очень важно и покрикивали на нас:

— Эй, мелкота, а ну-ка из-под ног!

А нам тоже хватало работы. Я сходил в новую школу несколько раз: унёс два глобуса, затем какие-то физические приборы со стрелками, потом два рулона географических карт.

Мы растянулись по всей улице — кто нёс чучела из биологического кабинета, кто исторические картины, а Серёге досталось нести самый настоящий скелет, точно такой, какой нагнал на меня страху в Алмазове. Серёжка пугал этим скелетом девчонок, те визжали. Удивительная привычка — визжать!

К вечеру мы всё перетаскали в новое помещение.

Новая школа. Её и школой-то назвать трудно — несколько одноэтажных домиков на берегу Томи.

А в прежней школе появились новые хозяева. В воскресенье вечером мы влезли в открытое окно нашего бывшего четвертого класса. Парты увезли, классную доску — тоже. Стены и потолок были только что побелены и местами еще не успели высохнуть. На чисто вымытом полу стояли застеленные серыми одеялами железные кровати.

— Тише, тише, — останавливали мы друг друга. И всё-таки нас «засекли». Внезапно дверь отворилась и на пороге появился часовой с винтовкой.

— Вы что здесь делаете?

Отвечать на этот вопрос мы не стали, а всей толпой кинулись к подоконнику. Путь был известный — с подоконника на дерево, по дереву вниз на землю.

На другое утро приехали четыре автобуса — белые, как снег, с красными крестами на боках. Из первых двух раненых вынесли на носилках, а из двух других они вылезали и шли сами. Мы смотрели на это, повиснув на заборе.

\* \* \*

Моё утро обычно начиналось с хлебного магазина. По карточкам можно было получить хлеб на три дня: за вчерашний день, на сегодня и на завтра. Мы почему-то всегда ели за завтрашний день. По правде сказать, хлеба больше всего доставалось мне. А мама часто отказывалась от своей «пайки». Она отвечала:

— А я и есть не хочу, потому что какая у меня работа? А ты растешь — тебе нужнее.

Я сопротивлялся этой доброте, но мама находила случай сунуть мне лишний кусок.

Пока я ходил в магазин, Нюра успевала сбегать к водокачке, выливала воду в кадку и отдавала ведра Кирьяковым — у них ведер не было. Когда я приносил хлеб, уже топилась печь, и мы спешили позавтракать, пока комната освещалась пламенем горящих дров. На завтрак ели всегда одно и то же — хлеб и кипяток. Потом я и Серёга везли в школу Зою. Первый и второй уроки проходили обычно при керосиновой лампе. Потом постепенно светало. Окна становились синими, затем голубыми, розовыми и из-за реки показывалось солнце. Лампу хотелось погасить каждому.

— Я!

— Я... — выкрикивали мы наперебой и тянули руки. Чаще всего Ольга Петровна позволяла потушить лампу Вере Севрюгиной, которая училась лучше всех. Она даже диктанты писала без ошибок. Просто непонятно, как ей это удавалось — она божилась, что никогда не учит правил. Кто её знает: правда это или только хвасталась?

В большую перемену я бежал в фабричную столовую с большим зелёным чайником. В него мне наливали суп. С чайником под партой я досиживал вторую половину уроков. Однажды из-за этого чайника я чуть не подрался с Серёгой, потому что он опрокинул его ногой и оставил нас без ужина. Конечно, он не нарочно распустил свои длинные ноги, но я обозлился и дал ему хорошего подзатыльника. Ольга Петровна услышала и спрашивает:

— Что там такое?

— Ничего! — отвечали мы с Серёгой хором.

(Из-за этого несчастного чайника я часто опаздывал на четвёртый урок. Ольга Петровна не обращала на это внимания, но однажды в коридоре я столкнулся с завучем Нинель Викторовной, и от неё мне здорово попало.)

Пришло время рассказать о моём третьем свидании с директором школы. В середине зимы наступили сильнейшие холода, и не только на улице, но и у нас дома, так как дрова все кончились. Мы, конечно, спасались от холода как могли. Прежде всего разобрали и сожгли отцову столярную избушку. Потом мама пересмотрела в чулане все вещи и отправила в печь всё, что могло гореть: какие-то отцовы заготовки, размеченные красным карандашом, старые галоши, трехногий венский стул и даже мою удочку, которую подарил мне Кирилл Петрович. И, чтобы было теплее, мы поселились все вместе. Кирьяковы перешли к нам вниз, а верх вообще закрыли, чтобы топить одну печку. (Поздно мы это догадались сделать. Надо было поселиться всем вместе с осени — тогда бы хватило топлива на всю зиму.) Кроме того, сожгли заборы, отделяющие нас от соседей — зачем раньше отделялись, непонятно. Как будто у нас были какие-то секреты.

И вдруг Серёга притаскивает ведро угля. Настоящий красногорский уголь, который горит, как дрова.

— Откуда? — спрашиваю.

— От верблюда!

— Нет, правда...

И тут он мне рассказал кое-что, похожее на сказку. Угля там не впрок — бери, сколько хочешь. Заброшенный склад угля да ещё забор повалился. Главное — заброшенный. На другой день после школы Серёга повёл меня к этому складу. Он посоветовал одеться потеплее — может, ждать придётся.

— Кого ждать? — попробовал я уточнить. Серёга не ответил. Я все же надел мамины валенки — они-то меня и погубили...

Взяли по ведру. Прошли всю нашу Прибрежную и добрались до железной дороги. Мороз был так себе, но всё же пощипывал. Серёга показал зелёный забор, в одном месте и правда поваленный, и горы угля.

— Вот здесь, — прошептал Серёга. — Если появится сторож, беги в эту сторону, а я в эту.

Значит, склад не был таким уж заброшенным, но отступить было поздно: неужели я трусливее Серёги?

Между прочим, сторожа нигде не было видно. Серёга ещё успокоил меня:

— Слышишь, паровоз загудел? Наверно, новый уголь привезли. Значит, он там... Принимает.

Вот это и было главной нашей промашкой — сторож никуда и не думал уходить. Только мы стали набирать уголь и он загредел о ведра, как сторож выскочил из темноты и кинулся к нам. Мы, как и было условлено, побежали в разные стороны. И тут, как всегда, мне не повезло. Во-первых, сторож побежал за мной, а не за Серёгой. Во-вторых, меня подвели мамины валенки (из своих я вырос, после подшивки их невозможно было натянуть). Если б я мог сбросить эти проклятые валенки, то удрал бы от сторожа в два счета. Мешало также ведро — одно из двух, с которыми Нюра каждый день ходила на водокачку. Бросить его тоже было нельзя.

В конце концов я всё же его кинул, но сделал это слишком поздно, уже тогда, когда сторож схватил меня за шиворот, Я попробовал было вывернуться, но не тут-то было. Он крикнул мне:

— Не балуй, малец! — и сжал мой воротник еще крепче. Вполне дурацкое замечание — в это время у меня не было никакой охоты баловаться. (Очень находчиво, как я узнал позже, поступил Серёга, — как только он убедился, что сторож побежал в другую сторону, он вернулся, набрал полное ведро угля и спокойно направился домой.) Сторож заставил меня подобрать рассыпавшийся уголь, сложить его в ведро и с этим вещественным доказательством повел меня в отделение милиции.

Время от времени он останавливался и свистел в свой свисток. Тогда мне уже было наплевать на ведро и на уголь — я ревел и гнусил: — Дяденька, отпустите...

Но дяденька и не думал внимать моим мольбам. Он твердо и безжалостно вёл меня в милицию. По дороге я слышал, как говорили двое прохожих:

— Воришку поймали...

— Им тюрьма — дом родной...

— Много вы знаете! — крикнул я злому прохожему.

— Ну, ты не очень-то. Иди куда надо... — вмешался сторож.

Мне очень не хотелось идти «куда надо», но тут наше путешествие окончилось. В отделении оказался всего один дежурный милиционер. Он сидел у открытой чугунной печки и грыз кедровые орехи. На печке сопел чайник, родной брат того, с которым я бегал за супом. Только теперь я разглядел сторожа — это был старик в большой мохнатой шапке.

— Вот получайте — натуральный вор.

Милиционер сел за стол, положил перед собой чистый бланк и приказал старику:

— Не держи!

Старик отпустил мой воротник и мне стало свободнее дышать.

— Ну, что ревёшь? — сердито спросил милиционер. — Бить я тебя не буду. Но протокол составить обязан. Как фамилия и имя?

— Ваня Иванов, — выдумал я.

— Отчество?

С отчеством у меня получилось некоторое затмение — я не успел ничего придумать и назвал настоящее.

— Возраст? Пол?

Насчет пола мне смешно стало. Как будто не видит, что я мальчишка. Но, в общем-то, смешного мало... Спросил и сторожа:

— Имя, отчество, фамилия, пол, возраст...

И обратился ко мне:

— Ну, что натворил?

— Ничего не натворил, — сказал я.

— Он уголь воровал, — пояснил сторож. — Вот и ведро евовное. Их двое было — так тот успел скрыться.

— А ты не успел? — спросил меня милиционер, и в голосе его послышалась укоризна.

— Где живёшь?

Я вспомнил, что недавно читал Стивенсона, и ляпнул:

— Стивенсоновская 7, квартира 5.

— Такой и улицы-то нет, — посмотрел на меня внимательно милиционер.

— Значит, есть, — уверенно настаивал я. А потом или мне надоело врать, или слишком уж недоверчивым стало лицо милиционера, но школу и класс я почему-то назвал правильно.

В милиции мне не понравилось. Особенно страшной мне показалась комната за толстой железной решёткой. Такие решётки я видел только в зоопарке. В решетке была дверь с большим замком. Высоко под потолком горела электрическая лампочка. Она тускло освещала табурет и небольшой стол. «Вот сюда меня и запрут», — с тоской подумал я. Между тем дежурный продолжал допрос:

— Стало быть, набрал ведро угля с целью похищения?

— С целью, — подтвердил я.

— И при появлении сторожа пытался скрыться...

— Пытался.

— Но благодаря своевременным действиям гражданина Захарова был задержан...

— Был...

— Всё верно? Прочти и подпишись...

Я подписался внизу бланка, где милиционер поставил «галочку».

— А теперь сымай валенки, чтоб соблазна не было.

Вот этого я не ожидал. Я всё же ещё надеялся как-нибудь улизнуть. Теперь последняя надежда пропала.

Милиционер стянул с меня валенки.

— Чьи такие?

— Материны.

— Понятно, — вздохнул милиционер, запер их за решетку, а ключ сунул в карман.

— А вы можете идти, — сказал он сторожу. — Надо будет — вызовем.

— А вор?

— Останется у нас.

Сторож ушёл.

— У меня ноги замерзнут, — протянул я жалобным тоном.

— Сядь ближе к печке, — посоветовал милиционер. — Чай пить будешь?

— С сахаром?

— Сахара нет. А соль найдётся... Вот тебе кружка... Наливай.

Тем временем милиционер звонил куда-то:

— Ваня Иванов. Ученик вашей школы. Четвертый класс... Задержан...

Кроме валенок беспокоило меня ведро. Уголь пошёл в печку — ну, это чёрт с ним. Туда ему и дорога, но ведро... Оно стояло рядом с валенками за решёткой.

Милиционер выдвинул ящик стола, достал кусочек хлеба:

— Есть хочешь?

— Нет.

— Ну, это ты не ври... Нынче все хотят.

Я взял кружку кипятку, кусок хлеба, густо посыпанный крупной солью, а сам думал: «Неужели меня посадят в тюрьму?»

В это время появился Иван Михайлович. Он поздоровался с милиционером и взглянул на меня, как мне показалось, насмешливо:

— А, старый знакомый... Все понятно — а я-то голову ломал, что за «Ваня Иванов»? Как же ты сюда попал?

Я промолчал. Пояснил милиционер:

— Похитил ведро угля.

— Вот как?

Я заплакал, на этот раз уже по-настоящему.

Иван Михайлович нахмурился:

— Где у тебя валенки?

— Валенки — вон они, под арестом, — сказал милиционер.

— Он пойдёт со мной. — В голосе Ивана Михайловича была властность и уверенность. Милиционер посомневался немного и отдал мне валенки.

Мы оказались на улице. Только тут я вспомнил про ведро, но возвращаться побоялся.

— Хорош, нечего сказать, — заговорил Иван Михайлович. — Стало быть, воровать начал? Позор да и только...

Он сердился, но гнев его был почему-то не страшен. Я рассказал ему, как сожгли отцову избушку, старые галоши и даже мою бамбуковую удочку, которую мне подарил Кирилл Петрович.

— Ну, до завтра, «Ваня Иванов», — сказал Иван Михайлович. — Вот мы и дошли...

Домой идти совсем не хотелось. Я представил себе состояние мамы, шум и всякие обидные прозвища, но неожиданно всё обо-

шлось благополучно. Молодец все-таки Серега — промолчал, что меня поймал сторож.

На другой день в школе я чувствовал себя «не в своей тарелке» — считал, что если Иван Михайлович не стал говорить со мной на улице, то теперь не упустит случая вызвать и «помотать душу». Ведь не каждый день его ученики попадают в милицию. Но он меня не вызвал. Чувствуя свою вину, я задержался в классе и помог уборщице протирать пол. В общем, пришел домой поздно. Уже у калитки на меня набросилась мама:

— Где ты пропадал? Как нарочно... Неужели пораньше не мог?

Уже до этого я понял, что во дворе происходит что-то необычное. Мама, Нюра, Лара и Серёга таскали уголь в сарайчик. Угля была навалена посреди двора огромная куча. Я глазам своим не поверил. Во-первых, откуда уголь? Во-вторых, где они достали столько ведер? Мама пояснила мне: уголь прислал военкомат, а ведра заняли у соседей: «Одного нашего никак не нашли...»

— И как они узнали, что у нас нет ни крошки? — изумлялась мама.

Я сразу догадался, откуда они узнали, но промолчал. О том, куда делось наше второе ведро, я тоже не распространялся. Пришлось купить на базаре. Это новое ведро было много хуже, чем прежнее. То было оцинкованное, а это какое-то самодельное из тяжелого кровельного железа.

\* \* \*

Около прежней школы, перед окнами бывшей учительской, спилили пять больших тополей, из них получилось всего три поленицы дров. Зачем их спилили?

Ночью весь город погружался во тьму. Электричество давали только самым важным учреждениям, в том числе госпиталю и эвакуированному заводу. И особенно ярко светились окна бывшей учительской. Мы, ребята, старались догадаться, что там могло быть. Снизу мы видели только кусок потолка и на нём несколько больших электрических ламп. Изредка в окнах мелькали белые халаты.

Один раз, когда уже стемнело, пацаны подначили меня взобраться на единственный оставшийся тополь, чтобы посмотреть, что там такое. Ребята притихли внизу, а я вскарабкался наверх почти по

гладкому стволу и заглянул в ярко освещенное окно. Я увидел такое, от чего у меня потемнело в глазах. Да и у любого бы потемнело... Кое-как спустился с дерева, сел на землю и сидел до тех пор, пока не пришел в себя.

— Ну, что там? — спрашивали меня наперебой ребята.

— Операцию делают, — только и мог ответить я.

\* \* \*

Вскоре Нюра ушла с завода и стала работать санитаркой в госпитале. Она сутки работала и сутки была дома.

\* \* \*

Теперь пора рассказать мне об Ольге Петровне. Дело было весной, когда мы заканчивали четвёртый класс. Вернее, начать нужно с осени. Ольга Петровна читала нам из учебника какой-то рассказ, а на Томи началась страшная буря. Такой еще никогда не было. Я сидел и всё время смотрел в окно. Дул сильный низовой ветер, и против течения шла одна лодка под парусом. Её били волны, временами казалось, что она захлебнулась и больше не поднимется, но это только казалось — лодка храбро шла против течения, разрезая носом гребни волн. Не я один смотрел на реку — почти все ребята незаметно старались привстать, чтобы посмотреть на бурю.

Ольга Петровна сделала одно замечание, другое, потом закрыла учебник и показала:

— Вот этот ряд — подойдите к окнам... Только без шума... Теперь второй ряд.

Так она всем нам позволила посмотреть, а на следующем уроке мы рассказали ей, что видели на реке, и написали небольшое сочинение.

Это было осенью, и не знаю, почему так хорошо запомнилось, а весной у Ольги Петровны случилось несчастье. Сперва нам сказали, что сегодня уроков не будет, потому что у Ольги Петровны на войне убили единственного сына. Сына этого мы не знали. Когда я учился в первом классе, Лёва уже перешёл в десятый. После окончания школы он работал в Затоне на ремонте речных судов. Высокий, сутулый, по праздникам он носил серую фетровую шляпу. Мы очень

его уважали, потому что всем было известно, что он парашютист, а парашютист — это почти лётчик. И вот теперь Лёва погиб...

Но всё же Ольга Петровна пришла в этот день в класс, и мы сидели тихо — претихо, чтобы ничем ей не досаждать. А потом случилось это самое...

В начале третьего урока она открыла окно и еще, помню, спросила нас:

— Вам не дует?

В это время в музшколе заиграла труба. (Музыкальная школа, после того как мы переехали, стала нашим соседом. У них тоже было открыто окно...)

Не знаю, кто играл — ученик или учитель, только звук трубы был протяжным и очень грустным. Ольга Петровна подошла к окну и замерла. Лица её мы не видели. Мы обратили внимание на пальцы её рук, которые сжимали край подоконника. Пальцы эти совсем побелели. Мы ждали, а она всё стояла, забыв о нас и об уроке. Так продолжалось минуту, две, десять. Мы окликнули её:

— Ольга Петровна!

Она не слышала, а мы боялись к ней подойти. Тогда Севрюгина побежала за Нинель Викторовной. Та пришла и пыталась увести Ольгу Петровну из класса, но наша учительница не хотела уходить. Нинель Викторовна тоже чуть не плакала — она не знала, что делать.

— Ольга Петровна, миленькая... Пойдёмте со мной. Вам надо отдохнуть.

Ольга Петровна ничего не отвечала ей. Тогда пришел Иван Михайлович. Он послал кого-то в музыкальную школу, и труба перестала играть. И только когда наступила тишина, Нинель Викторовна увела Ольгу Петровну в учительскую. Прозвучал звонок, Нинель Викторовна пришла ещё раз, взяла со стола книги и тетрадки Ольги Петровны и унесла. Потом нас распустили — последних двух уроков не было и вообще мы больше Ольгу Петровну не видели. У нас стала другая учительница — тоже Ольга, но не Петровна, а Михайловна. Но дело, конечно, не в этом. Просто мы друг другу не понравились.

\* \* \*

Играть в «чику» мы наладились внизу, под обрывом, у самой реки. Это хуже, чем на асфальте, но зато никто не увидит.

Один раз мы после уроков пошли на берег и только разыгрались, как появился Иван Михайлович. У меня от испуга даже сердце замерло. Бежать было поздно. Он окинул нас взглядом и спросил:

— Все здесь?

Наверное, он успел заметить, что кое-кто нырнул под деревянную лодку. Мы подавленно молчали. Не обращая на это внимания, он предложил:

— Разбирайте свои копейки и айда со мной в столовую.

Сперва мы ему не поверили — застукал нас на «чике» и вдруг — столовая. С какой это радости? Видя, что мы не шевелимся, а только переглядываемся, он засмеялся:

— Ну, чего встали? Идёмте... За всех плачу я.

На это раз мы поверили, что он не шутит. Нас было семь человек, и мы гуськом пошли за ним. (Здорово же проиграли те, кто спрятались под лодку.) По дороге я успел забежать домой за ложкой.

Столовая водников помещалась возле пристани. Питались в ней, в основном, рабочие, которые ремонтировали суда: слесари, сварщики, маляры, котельщики. Чтобы не надоедали всякие «посторонние», на входных дверях висела бумажка: «Столовая не работает», но Иван Михайлович не обратил на неё никакого внимания. Мы прошли с чёрного входа, и нас пропустили. Навстречу вышла женщина в белом переднике с розовыми руками и широко раскрыла глаза.

— Сколько вас?

Иван Михайлович поправил очки, пересчитал нас и спокойно ответил:

— Со мной — восемь...

«Вот теперь-то нас турнут», — подумал я, но ничего особенного не случилось.

— Пройдите на вешалку, — показала рукой женщина. Простые её слова повергли меня в смятение: пока не поздно, я решил незаметно улизнуть и, несмотря на аппетитнейший запах, стал пятиться к двери. На мне было пальто, брюки, ботинки, а рубашка отсутствовала. Как назло, в это день мама взяла постирать её. Вместо рубашки Нюра дала мне надеть чёрный жилет Кирилла Петровича. Не мог же я в таком виде сесть за стол. Спас меня всё тот же Иван Михайлович — он поймал меня за рукав и спросил тихо:

— Ты куда?

И тут я чистосердечно, но тоже тихо, признался ему во всём.

— Подумаешь, беда какая, — махнул он рукой, шепнул что-то гардеробщице, и та не стала настаивать, чтобы я раздевался. Но, вообще говоря, было всё же не то. Все сидели чинно в рубашках, Иван Михайлович в своём пиджаке, а я в пальто. Серёга толкнул меня локтём:

— Что ты, сдурел?

— Не больше, чем ты, — огрызнулся я.

До сих пор я благодарен Ивану Михайловичу за то, что он не дал мне уйти. Такого обеда, мне кажется, не было ни до этого, ни после. Прежде всего, мы наелись густого картофельного супа. Потом подали по полной миске бигуса и, наконец, по стакану киселя. Правда, не было хлеба, но и без хлеба мы наелись до отвала.

А знаете, кто был официанткой? Лена Киселёва. Я сначала не узнал её, такую красивую, в белом фартуке. А она кивнула мне и улыбнулась.

Я уплетал за обе щеки, пока меня, как молния, не поразила одна мысль, вернее, спасение. Как сможет расплатиться Иван Михайлович за всех нас? А вдруг у него не хватит денег? Ведь наели мы не на один рубль. Только супа, считая «добавки», съели порций двадцать, не меньше.

И вот наступил самый опасный момент: Иван Михайлович поманил рукой, подзывая Лену:

— Подсчитайте!

Она положила на стол маленькие счётчики, погоняла на них костяшки и назвала огромную сумму. Я думал, Иван Михайлович скажет, что принесёт деньги завтра. Но он нисколько не растерялся — выложил на стол несколько бумажек и весело подмигнул нам: «Ничего, мы, мол, не пропадём». Впрочем, я ещё в милиции стал догадываться, что Иван Михайлович не из тех, кто пропадают.

После столовой мы гурьбой вышли на улицу и не знали, что делать. Продолжать игру в «чики» было теперь стыдно. К тому же мне лично очень захотелось спать. Но и тут Иван Михайлович сумел понять нас. Он решительно объявил:

— Ну а теперь по домам...

И мы разошлись и, кажется, даже забыли сказать ему «спасибо». Нет, не кажется, а действительно забыли...

С Иваном Михайловичем мы шли домой вместе.

— Ты кем же собираешься стать? — спросил он меня.

— Не знаю ещё...

— Пора знать.

И он повторил, должно быть, думая о чём-то другом:

— Пора знать...

Я хотел сказать, что я ещё маленький, что времени у меня впереди хоть отбавляй, и я не раз успею решить, кем стать, но вовремя сообразил, что для Ивана Михайловича маленьких людей не существует. И промолчал.

— Ты зайди ко мне, — вдруг оживлённо заговорил он. — Дело есть.

А дело было вот в чём: он показал мне чёрного пушистого щенка и заглянул в глаза:

— Нравится?

— Ещё бы!

— Так вот — возьми себе Рекса. А я вернусь с фронта — ты мне его обратно отдашь.

Он говорил так, как будто был твёрдо уверен, что вернётся, но я-то уже знал, что с войны можно и не вернуться.

Иван Михайлович пожал мне руку, как взрослому, и предостерёг:

— Смотри не накорми горячим.

— Ладно.

Он предложил мне деньги за содержание Рекса, но я, конечно, отказался.

Это был наш последний разговор. На другой день Иван Михайлович пришёл к нам в класс попрощаться. Он весь был в военном и всё на нём было новенькое, необношенное. Извинившись перед Ольгой Михайловной, он улыбнулся нам:

— До свидания, ребята!

На следующий день он уехал.

Директором школы теперь стала Нинель Викторовна. Она тоже была ничего, но уж совсем не то. Она даже подражала Ивану Михайловичу, но в нём чувствовался хозяин школы, а в ней этого, хозяйского, совсем не было. Иван Михайлович и ходить-то умел по-директорски. Пройдёт по школе молча, и самые хулиганистые успокоятся. У него были очки в тяжёлой оправе, а у неё — пенсне,

которое того и гляди махнёт крылышками и улетит. И вообще, Иван Михайлович умел сказать так, что на всю жизнь запомнишь, а она то улыбается, то наставляет брови.

Говорят, что Нинель Викторовна — строгая, может быть, это и так — мне трудно сказать, со мной она говорила всего один раз.

\* \* \*

Вот тут и произошло то, что я потом называл «сказочный ужин». Да и как его иначе назвать, хотя он окончился плохо.

Вечером мама поставила на стол сметану в двухлитровой банке, каждому по чашке сахарного песка, кусок ярко-жёлтого сливочного масла, которое бывало у нас до войны, и ещё каждому по две шоколадные конфеты «Кара-Кум», в бумажках. (Кроме того, шесть конфет я отнёс Кирьяковым.)

Я не понял, откуда вдруг у мамы такое богатство, а Нюра отодвинула чашку с сахаром. Мама снова передвинула её Нюре.

— Ешь!

Сестра с сомнением дотронулась указательным пальцем до сахара, подняла на маму глаза:

— Обещай, что этого больше не будет.

О чём они говорили? Я с удивлением смотрел то на одну, то на другую.

Мама хмуро и серьёзно ответила:

— Нет, не обещаю. Как я могу обещать? Сама подумай...

Нюра кивнула, но чашку опять отодвинула:

— Сахар твой.

Мама притворно рассмеялась:

— Будем теперь считаться: «твоеё — моё».

Нюра обернулась ко мне:

— И ты не смей брать.

— Ну это ни к чему, — нахмурилась мама.

— Очень даже к чему.

— Я тоже пойду и сдам... Как это я раньше не догадалась, — проговорила Нюра.

— У тебя не возьмут. Ты посмотри на себя: на кого ты похожа... А я — совсем другое дело.

Потом обе ели сметану и сахар, угощали меня и плакали.

На другой день Нюра объяснила мне, в чём дело: мама сдала кровь, получила донорский паёк и поставила его на стол для всех нас.

— Наша мама — стихийно добрая, — задумчиво закончила Нюра своё объяснение.

Мне непонятно было выражение «стихийно». Нюра заметила это по моему лицу и пояснила:

— Слишком добрая...без рассуждения...

Ранней весной сорок четвёртого года у нас с Серёгой появился капитальный план. Дело в том, что мы с ним решили уехать на фронт и стать разведчиками. Для этого нужно было: первое — собрать на дорогу хоть сколько-нибудь продуктов; второе — найти подходящую карту западной части Советского Союза и Германии; третье — выучить на «отлично» немецкий язык, чтоб говорить на нём совершенно свободно.

Серёга обменял свой зелёный свитер на хлеб. Я тоже сбавил одному барыге свои старые валенки и купил сала.

Карту мы вырвали из учебника географии, оставшегося после Гриши.

Хуже обстояло дело с немецким языком. Немецкий знал старик сапожник, который два года ещё до революции провёл в австрийском плену. Он охотно рассказывал нам, как работал у немецкого кулака, но язык, оказывается, почти забыл. Короче говоря, он обманул наши надежды и ничему нас не научил. Тогда Серёга достал русско-немецкий разговорник — это было много лучше, чем старик сапожник. Мы набросились, было, на этот разговорник, но быстро в нём разочаровались: сообразили, что к военной обстановке он мало приспособлен. Мы выучили буквы и научились произносить: «Как вам понравилась эта кинокартина?», «Берта, тебе не к лицу яркая помада», «Ганс, хочешь ещё одно пирожное?». В общем, с немецким у нас дело обстояло хуже всего.

Был ещё один трудный вопрос — Рекс. Куда его девать? Мы с Серёгой всё подробно обсудили. Везти с собой, но если нас возьмут разведчиками, собака может помешать. Оставить здесь? Но кто будет заботиться о ней? Волей-неволей пришлось обратиться к Зое. Она дала честное пионерское, что будет хранить тайну. Мы боялись, что она попросится с нами, но, видимо, она сама поняла, что развед-

чица на костылях уже не разведчица. О Рексе она обещала заботиться. На этот месяц оставались наши детские карточки, а это было уже кое-что. А дальше?

— А дальше — видно будет, — успокоила нас Зоя, и мы согласились.

Не знали мы также, кто будет возить Зою в школу. Но и тут она постаралась успокоить нас: скоро снега вообще не будет. Ездить так и так придётся. Надо только пораньше выходить, чтоб не опоздать. А когда опять выпадет снег, можно приспособить Рекса. Ведь ездят же на Севере на собаках. К тому времени он подрастёт и станет сильным и большим.

Молодец девчонка, мы от неё даже не ожидали. Полная сознательность и даже больше. Жалко, что нельзя было её взять с собой...

Отъезд мы назначили почему-то на 20 апреля. К этому сроку всё должно быть готовым. Время выбрали, когда все взрослые на работе. Привезли из школы Зою. Серёга поцеловал сестрёнку, я пожал ей руку, и мы двинулись на товарную станцию. Каждый из нас оставил по записке. Сергей написал: «Мама, не ищи меня. Вернусь после победы. Смерть немецким оккупантам! Сергей Кирьяков». Я тоже написал: «Смерть немецким оккупантам!», хотя мы и не сговаривались, что писать.

Товарная станция находилась у чërта на куличках. Мы прошли через весь город и даже вспотели, потому что торопились.

Пришли. Пробрались к составам, конечно, не через станцию. Серёга предусмотрительно сказал:

— Главное — никого ни о чём не спрашивать.

На путях стоял пустой товарный состав. На одном из вагонов мы увидели крупную надпись мелом — «Челяб.».

— Ну что ж, — сказал Серёга, — доберёмся до Челябинска, а там видно будет.

— А когда он пойдёт? — спросил я.

— Надо потерпеть. На фронте все терпят... Не будет же он стоять вечно.

Залезли в один из вагонов, задвинули дверь и зарылись в какую-то солому. Пахло почему-то навозом. Здесь не было ветра и сначала показалось тепло. Но это только сначала. Немного погодя почувствовали, как холод залезает под пальто.

— Ты спишь? — прошептал Серёга.

— Какой тут сон? — отвечал я.

Потом мы слышали далёкие голоса. Серёга осторожно выглянул и доложил обстановку. Какие-то двое идут вдоль состава с фонарём и заглядывают в каждый вагон.

— Значит скоро поедет, — заключил я.

Серёга был другого мнения.

— Зарывайся поглубже в солому, — скомандовал он.

Так я и сделал. Мужские голоса прозвучали около нашего вагона. Заскрипела тяжёлая дверь.

— И тут никого нет, — прозвучал хриплый старческий голос.

— Обожди, а это что? — спросил другой.

Кто-то схватил меня за ногу и вытащил из соломы.

— Ты что здесь делаешь? — спросил мужчина.

— Ничего...

Что я ещё мог ответить?

Крепко держа меня за рукава, эти двое повели меня на станцию. Одеты они были в форму железнодорожников. «Хорошо, что не милиция», — подумал я. Но без милиции не обошлось. На станции они подвели меня к двери, над которой висела табличка «Железнодорожная милиция». Посадили на скамью в тёплой, ярко освещённой комнате. Молодой сразу ушёл. Со мной остался старый. Позвонил телефон. Железнодорожник снял трубку:

— Да, да... У нас... Я же говорил, что никуда не денется... Можете забрать...

«Значит, нас-то они и искали по вагонам» — понял я.

Дальнейшее представлялось мне совершенно ясно — сейчас прибежит мама, будет обнимать меня и плакать, а потом поведёт домой. Ну что ж — чему быть, того не миновать. В тепле я отогрелся немного и задремал — может быть, потому что ночь перед этим не спал.

Внезапно дверь открылась, и в комнате появилась не моя мама, а почему-то Лара. Она с недоумением уставилась на меня.

— Получайте вашего Сергея, — засмеялся железнодорожник. — В целости и сохранности.

Лара побледнела:

— Это не он...

— Как не он? Ах ты, чёрт поberi!

Мгновенно обо мне забыли. Старик и Лара побежали куда-то. Через несколько минут вернулись.

— Ушёл уже... — причитала Лара.

— Надо дать телеграмму на следующую станцию. Там его снимут...

Она ещё осталась на станции, а я пошёл домой. Тогда я не понимал, что случилось, а позже выяснилось вот что: Лара вернулась с фабрики раньше обычного. Она порезала палец, ей сделали перевязку на здравпункте и отправили домой. Дома она нашла записку Сергея, позвонила в школу, побежала в военкомат. Оттуда дежурный позвонил на станцию. Вот почему железнодорожники осматривали каждый вагон и меня приняли за Сергея.

Дома я прежде всего порвал свою записку, а что касается Серёги, то ему, как всегда, повезло. На следующей станции его почему-то не сняли, и он спокойно покатил в сторону фронта.

А я так и остался дома. И конечно, мама узнала, что я был с Серёгой, но всё обошлось без скандала: она почти не ругала меня, а Нюра даже сказала, что я молодец и она гордится моим поступком.

А вот в школе сложилось всё по-другому. На другой день меня вызвала к себе Нинель Викторовна. Она встретила очень ласково, улыбнулась:

— Присаживайся, Агеев.

Я сел на краешек стула.

— Ну расскажи, зачем ты это сделал?

«К чему спрашивать о том, что совершенно ясно? Мама и Нюра этого не спрашивали».

— Не подумал: Да?

«Опять не то... Как можно было «не подумать»? Наоборот, всё до мелочей было думано-передумано.»

— Обещай мне, что этого больше не будет...

«Зачем же я буду ей обещать? Лучше промолчать».

А дальше началась сплошная педагогика.

— Собственно говоря, я хотела выяснить, почему ты стал учиться слабее, чем прежде...

— Кто его знает... — шмыгнул я носом.

— У тебя носовой платок есть?

Я стал рыться в карманах.

— Прежде ты учился много лучше... Ведь так?

— Ну...

— Не «нукай» — ты не на конюшне...

Она перестала улыбаться.

— Что с тобой? Ты, говорят, увлекаешься «чикой»?

При чём здесь «чика»? Да разве всё расскажешь? Может быть, дело в том, что всё время хочется есть, а может быть, дело в той бумажке, в которой незнакомым почерком написано, что «верный воинской присяге, пал смертью храбрых под Наро-Фоминском рядовой Григорий Захарович Агеев... Похоронен в братской могиле...» А Григорий Захарович — это просто наш Гриша... Обо всём этом можно бы сказать Ивану Михайловичу, а вот Нинель Викторовне — нельзя. Нет таких слов, чтобы сказать. Ведь не скажешь, что последнее время мама стала сухонькой и маленькой и всё чаще подолгу молчит. А Нинель Викторовна — молодая, красивая — спрашивает:

— Кто твои друзья?

Я не знаю, что ответить. Теперь Серёги нет. А может, мой друг — Зоя, которую я вожу в школу?

— Какие книги ты читаешь?

Стоит ли рассказывать ей, что я давно уже ничего не читаю. Потому что у нас темно. Вечером, сидя перед раскрытой печкой, я едва успеваю приготовить письменные уроки. И то кое-как... Я опять молчу. Нинель Викторовну обижает моё молчание.

— Ну почему ты ничем не хочешь поделиться со мной? Какой ты скрытный, — вздыхает она, — а напрасно. Я, возможно, могла бы помочь тебе...

— Не нужно мне никакой помощи», — думаю я и так сжимаю в кармане алюминиевую расчёску, что острые её зубья впиваются мне в ладонь.

— Можешь быть свободным, — произносит, наконец, Нинель Викторовна.

\* \* \*

Этой же весной фабрика выделила маме три сотки земли. Кирьяковы тоже могли взять, но брать не стали, потому что они уже собирались домой (надо сказать, что они с первого же дня, как поселились у нас, всё собирались домой).

Землю «вырешили» километрах в трёх от города в местности, которую называли «Холерными бараками». Когда-то здесь, ещё при

царе, во время холеры, построили несколько домов для больных. Теперь домов уже не было. На том месте, где когда-то они стояли, возвышалось несколько поросших молодыми деревьями холмов, да темнели какие-то ямы.

— Много народа здесь повымерло. Ещё дед мой рассказывал, — пояснила нам мама.

Теперь о смерти ничто не напоминало — в частом березняке пели птицы, а на полянах цвели огоньки...

Мама родилась в селе Кожевниково и на всю жизнь сохранила любовь к земле. Ей давно хотелось иметь свой огород. До войны — для души, в войну он помог бы нам прокормиться.

Между прочим, был не огород, а просто большая поляна. Среди травы торчали колышки с номерками. Наш номер был тридцать седьмой. Участок этот достался нам по жребию. Что такое «жребий», я не знал, но мне здесь понравилось. И мама была здесь совсем другая — весёлая, сильная, будто помолодевшая на много лет. Она копала и готовила землю под рассаду капусты и помидоров, а мы с Нюрой таскали воду из лога, где протекал ручей. Когда шли обратно, Нюра уходила вперёд, а я, как ни старался, всё равно отставал. Идти быстрее никак не получалось — вёдра раскачивались, а вода расплёскивалась. Плохо было только то, что здесь, в лесу, особенно хотелось есть. Мы с Нюрой никак не могли дожидаться ужина.

Мама говорила, что земля досталась чудесная: чёрная, рассыпчатая. Но у нашего огорода было два недостатка: первый — от нашего дома сюда надо было идти чуть не час; второй — далеко от участка находилась вода. И ещё плохо, что сторож попался, как мама определила: «из-за угла мешком пуганый». Одет он был удивительно: в старой стёганке без пуговиц, в широких штанах, сшитых из розового байкового одеяла, и босиком. За сторожение он попросил хлеба вперёд — полтора килограмма (пришлось купить на базаре). И всё смеялся безо всякой причины. Из-за этого смеха его, наверное, и в армию не взяли — куда же годится такой боец, ему и автомат дать нельзя. Представьте, идёт в атаку и хохочет. Это же не воин. Впрочем, берданку ему доверили: парень везде ходил с ружьём на широком засаленном ремне.

Здесь, на участке, я первый раз в жизни видел соловья: оказывается, он похож на воробья — такая же серая невзрачная птичка,

только, кажется, посерьёзней. Сидел на сухой талине, надувал зобик и заливался трелями...

Отправляясь на участок, мы каждый раз брали с собой Рекса. Постепенно он становился настоящей собакой и без памяти любил нас. Всё труднее становилось его прокормить. Чаще всего хлеб ему из своей «пайки» уделял я.

Ему нравились эти прогулки — он бежал, обгоняя нас, садился и ждал, когда мы подойдём, то далеко отставал, обнюхивая заборы и выясняя что-то, одному ему нужное. В лесу он тоже не сидел и не смотрел, как мы работаем. Как только мы приходили на огород, он мчался в лес, и мы его не видели до конца работы. Когда мы собирались домой, я кричал:

— Рекс! Рекс!

И он прибежал, сломя голову, с мордой, на которой были написаны восторг и одновременно возмущение: «Неужели вы домой? Неужели вам не хочется побегать по траве, половить мышей, полазить в кустах?»

И вот однажды Рекс не прибежал на мой зов. Я пошёл искать его. Долго я ходил между берёз и потом увидел... Он лежал, вытянув задние лапы, около сухой талины. Я назвал его по имени. Он не шевельнулся. Я подошёл ближе. Вся его голова была в крови. Он был уже совсем холодный. Я взял его на руки и принёс к нашему огороду. По пути я вспомнил, что утром слышал два выстрела. Кто стрелял?

— Я знаю, чьих это рук дело, — сразу сказала Нюра, как только увидела мёртвого Рекса.

Мы с ней пошли к шалашу сторожа, а мама пошла рыть яму. Парень встретил нас смехом. Он и не думал отрицать, что стрелял.

— Это ваша собака? Повадилась из шалаша хлеб воровать. Такая шкодливая...

Ни я, ни Нюра ему не поверили: Рекс и воровство — вещи несовместимые. У нас дома мы оставляли хлеб на столе — Рекс ни разу не тронул ни крошки.

Мы похоронили его на пригорке под высокой красивой берёзой, далеко от огорода, на берегу ручья.

Осенью мы одолжили у соседей тележку и поехали за своим урожаем. Теперь лес был совсем другой — жёлтый, тихий. Когда приехали, Нюра вскрикнула:

— Мама, где же наш огород?

Мама опустила на повядшую траву и по её лицу я понял, что у нас случилось большое несчастье. Так оно и было. Кто-то выкопал нашу картошку, срубил недозревшую капусту, повыдергал морковь. Мама даже застонала:

— Что сторож смотрел? Такую страсть наделали...

— Да он первый и поживился, — усмехнулась Нюра.

— Не может быть, — возразила мама.

Присмотрелись к траве: на ней явно отпечатались следы колёс и конских подков.

— Пойдём к сторожу, может быть, он видел, — продолжала мама своё.

Подшли к шалашу. Он был пуст. Видно, в нём давно никто не жил. Шелестели сухие листья. На месте костра оставалась рыжая выжженная земля, но золы не было — видимо, её унёс ветер.

Домой мы шли налегке, толкая впереди себя пустую тележку.

\* \* \*

В госпиталь мы заявили всем классом. Дали мировой концерт внизу, в том зале, где до войны проходили школьные вечера.

Те, которые не могли ходить, лежали на первом этаже. Их прикатили в зал на колясках и поставили впереди, чтобы им было всё хорошо видно. Ходячие сели позади на скамейках.

Я выступал с песней, которую научил меня петь ещё Серёга.

Без хвастовства скажу — здорово получилось. Некоторые раненые даже вытирали слёзы.

Потом мы ещё ходили по палатам, читали и пели тем раненым, которым вообще нельзя было двигаться... Тут и состоялся мой первый разговор с дядей Сеней. Он спросил:

— Ну и что в вашем городишке есть?

Меня задело слово «городишко». Не городишко, а самый настоящий город, правда, небольшой.

— Фабрики, заводы, — отвечал я. — И вообще всё, что нужно...

— А какие?

— Это военная тайна...

Тут я, конечно, приврал для пущей важности, потому что с какой стати было докладывать дяде Сене, что у нас, кроме мебельной фа-

брики и судоремонтных мастерских, ничего сроду не было. Правда, был ещё эвакуированный завод, но о нём я сам ничего не знал. Слова мои почему-то развеселили дядю Сеню:

— Молодец, военную тайну разглашать нельзя... Это верно... Ты учишься?

— А как же?

— На пятёрки?

— Всяко бывает.

— В каком ты классе?

— В пятом.

Такой поворот разговора от нашего города к моей личности не очень понравился мне. Того и гляди спросит, сколько мне лет, и скажет: «А я думал — ты маленький». (Вот что значит медленно расти.)

— Как звать тебя?

— Костя Агеев...

— Не брат ли Ньюры?

— Брат.

— Значит, Костя? Хорошее имя. У меня сын Костя. Чуть побольше тебя... И ещё девчушка Ниночка...

— Далеко?

— Под Хабаровском...

Я спросил его:

— Ты из деревни?

— Из райцентра.

— А кем работал?

— Плотником.

Он нахмурился озабоченно:

— Теперь придётся подыскивать что-нибудь другое...

Он шевельнул загипсованной рукой:

— С такой цацей много не наработаешь...

— Конечно, — согласился я.

— Ты мне запиши ту песню — хорошая.

Я обещал.

После того как весь наш класс освободился, нас повели в бывший школьный буфет и накормили пшённой кашей. Каши положили по полной тарелке, а сверху ещё кусочек сливочного масла. Хлеб я хотел унести домой, но постеснялся, что скажут: «Здесь натрескал-

ся, да ещё и домой тащит». Так корка хлеба и осталась на столе. Я надеялся, что кто-нибудь заметит такое дело и скажет: «Мальчик, возьми это с собой». Но никто не заметил и не сказал.

На другой день я принёс дяде Сене песню, переписанную каллиграфическим почерком. (Пришлось мне попотеть.) И тут он ещё немного рассказал о себе. До самого ранения он был сапёром. Строил мосты и сколачивал плоты, обезвреживал немецкие мины. Как его ранило, он рассказывать избегал. Сказал просто, что «попал в такую передрагу, что не приведи бог». Я спросил его, верит ли он в бога.

— С чего это ты вдруг? — удивился он.

— А ты бога помянул...

— Это так, к слову пришлось.

Я вышел в коридор и остановился.

Думал я совсем о другом: теперь я совершенно ясно знал, кем быть. Раз не получилось на фронт, значит, надо стать хирургом. Как мне это раньше не пришло в голову? Сперва мечты о море, затем стремился стать разведчиком, а теперь — хирургом. Нет, это не очере́дное увлечение. Я твёрдо надумал — только хирургом.

И с этого дня я решил стать другим человеком. Может быть, именно в эту минуту кончилось моё детство. Теперь я знал, зачем жить на свете. Не было больше мальчика «ни к чему».

\* \* \*

О намерении моём стать хирургом я никому не говорил, но сам не забывал о нём ни на минуту. Бессмысленно было бы только мечтать. Надо было что-то делать. Прежде всего взял в городской библиотеке толстую книгу «Полевая хирургия» и начал её читать, таясь от всех. Затем я решил подлечить Зоину ногу. Почему девочка часто говорит, что у неё болит ступня? Ступни-то ведь у неё и нет.

— Зоя, — попросил я, — покажи мне больную ногу.

— Зачем тебе? — удивилась она.

Я объяснил ей всё и, мне кажется, очень убедительно, но она вдруг заупрямилась: «нет» да «нет». Она не захотела снять с больной ноги нечто вроде стёганого рукава, который сшила для неё Лара.

Тогда меня осенила замечательная мысль — показать Зоину ногу начальнику госпиталя. Пусть он даст Зое подходящий протез.

— Завтра пойдём со мной. Пусть твою ногу посмотрит врач.  
На это Зоя согласилась.

На другой день мы с ней не пошли в школу и отправились в госпиталь. К начальнику нас не пустили. Тогда я через санитарку вызвал Сеню, а он уже договорился, что начальник нас примет. Впрочем, начальник был чем-то занят, и нам пришлось посидеть на скамейке в коридоре. Потом он вышел к нам — голова белая и халат белый.

— Это вы ко мне?

Когда мы вошли в его кабинет, я объяснил, зачем мы пришли. Он спросил, как нас звать, и сказал:

— Так вот, Костя, свою сестрёнку ты подожди там...

Он махнул в сторону двери.

— Нам с Зоей свидетели не понадобятся.

Почему-то он был уверен, что она моя сестра. Возражать я не стал. Через некоторое время он позвал меня обратно. Усадил на белую табуретку.

— Так вот что я вам обоим скажу: протез сейчас подобрать нельзя. У нас таких нет... Другими словами: пусть Зоя немного подрастёт. А насчёт того, как сложится дальнейшая жизнь — пусть не сомневается: будет Зоя свободно ходить, даже танцевать. Вы поняли меня?

Мы кивнули утвердительно, сказали «спасибо» и хотели уйти, но он догнал нас в дверях и обоим уважительно пожал руку: сперва Зое, потом мне.

В коридоре Зоя почему-то заплакала.

Опять наступил апрель. Последний апрель войны. Теперь нельзя было возить Зою на санках. Да и на костыльках своих она управлялась очень ловко. Доходила до школы быстро, почти как я. Кирьяковы снова переселились к себе наверх... А с нашей Нюрой что-то случилось. Во-первых, она всё время что-то напевала. Слов нельзя было разобрать, но губы её шевелились, и ходить она стала легко и весело, словно под музыку. Во-вторых, всё свободное время пропадала у Лары и с её помощью что-то шила себе. Несколько раз за вечер Нюра сбегала вниз к нашему большому зеркалу и приказывала мне:

— Отвернись к окну!

Это значило, что она примеряет кофточку или юбку. А что было смотреть в окно? Всё одно и то же — серый лёд и остров с чёрными кустами. Шила она из старья, ничего хорошего не получалось, но

сестра, видно, была другого мнения. Вообще я заметил, что ей вдруг захотелось быть красивой. Дошла до того, что взяла у меня толстый красный карандаш и не призналась. Но меня ведь не обманешь. Куда делся карандаш, я увидел по её губам — они вдруг стали ярко-красными. Я прямо сказал ей, что нехорошо так делать — красть у родного брата карандаш, который, между прочим, нигде не купишь.

С началом весны старая школа тянула к себе как магнитом. Каждый день мы залезали в госпитальный сад. Раненые встречали нас приветливо, шутили с нами, малышей брали на колени, со старшими играли в шашки и домино. У каждого мальчишки появился свой взрослый друг. И у меня, конечно, дядя Сеня. Нюра привозила его в сад на коляске и оставляла где-нибудь около беседки. Помню его ясно: плотный, с оспенными рябинками на лбу и щеках, глаза серые, внимательные и всегда такие, как будто он собирается сказать что-то смешное. Когда читал, надевал очки. Из берёзового полена с помощью отцова топора и перочинного ножа я смастерил отличные «цыпки».

— Посередине манок, а по бокам две ловушки для птиц. Вот с этой штукой я и появился однажды в госпитальном саду. Дядя Сеня осмотрел их, похвалил и сообщил, что в детстве мастерил точно такие же.

Он, как и другие раненые, был в одном нижнем белье. Старшая сестра Бахтина не разрешила выдавать раненым пижамы, чтоб они не уходили в город. Конечно, дядя Сеня никуда бы не ушёл, он вообще ещё ходить не мог, но тут всех стригли всех под одну гребёнку.

— Без штанов какой я мужик, — ворчал дядя Сеня. — Вот дурёха!

«Дурёха» — это я выразился очень мягко. Дядя Сеня употребил куда более крепкое словечко, но тут же вспомнил, что за его спиной стоит Нюра и спохватился:

— Ты прости меня, Нюра... С языка само сорвалось. Ты иди, отдохни.

Нюра согласилась отдохнуть, кинула в мою сторону:

— Если нужна буду — пусть позовёт.

Когда Нюра ушла, дядя Сеня подозвал меня:

— Тебе на первый раз поручение... Знаешь, где базар?

Он оглянулся, вытащил из-за пазухи краюху хлеба:

— Дуй на базар и обменивай вот это на махру. Только чур — никому! Держи кисет...

— А сколько дадут махры?

— Ты не рядись — сколько насыпят, то и ладно.

Базар находился в двух кварталах от госпиталя. Чем тут только не торговали — всякими нужными и ненужными вещами: мышеловками, вениками, травами, солью, старой и новой одеждой. Один старичок торговал огарками стеариновых свечей. За каждый огарок он просил по десять рублей.

Моим ломтём хлеба сразу заинтересовались.

— Эй, пацан, подваливай сюда...

— Сколько просишь?

— Давай баш на баш — твой хлеб, моя литра молока.

Будь моя воля сменял бы я хлеб на молоко, но дядя Сеня ждал махорку. Нашёл я её у парня с подвязанным грязным бинтом подбородком. Он насыпал мне гранёный стакан махорки и ещё добавил — бросил в кисет щепотку.

— Закури, — предложил он мне, — крепкая, мягонькая...

— Я не курю...

Он окинул меня недоверчивым взглядом, но я не врал. Курить я попробовал всего один раз. Серёга уговорил, но ничего не получилось. У меня закружилась голова и чуть не вырвало.

В общем, принёс я дяде Сене стакан самосада. В это время вернулась Нюра. На махорку она не обратила никакого внимания, а вот кисет заинтересовал её. Кисет и правда был занятный: на синем бархате кто-то вышил красными бусинками: «Далёкому другу от Любы из Перелюба».

— Кто эта Люба? — спросила Нюра.

— Любушка — голубушка... — подмигнул дядя Сеня.

— Жена?

— Жену мою не Любой зовут, — серьёзно ответил дядя Сеня.

— Она, наверное, красивая?

— Кто? Люба?

— Жена твоя. Покажи карточку.

— И рад бы, да нет её. Ранило меня — и прямо в медсанбат. Очнулся в одном белье, а карточка в кармане гимнастёрки лежала...

Посмотрел внимательно на Нюру, озабоченно покачал головой:

— Ну и закусилась... Ты, Костя, знаешь что — маленько пробегись.

— А долго бегать?

— До угла и обратно. Я время засеку...

Он взглянул на наручные часы. Часы у него были что надо — швейцарские, трофейные, с чёрным квадратным циферблатом.

— До какого угла?

— Хотя бы где магазин.

Вот это «хотя бы» меня сильно расхолодило — значит, ему всё равно, до какого угла... Но делать нечего — побежал. Сперва во всю мочь, потом рысью. Бегу и думаю: «Тоже мне — нашли дурачка. Зачем мне всю дорогу бегом бежать?» Обратно шел, уже не торопясь.

Пришёл, а они меня ни о чём меня не спросили. Дядя Сеня даже время посмотреть забыл.

Сестру я не сразу узнал. Что-то случилось с её лицом. Смотрю, а она улыбается. Когда увозила его, слышал, как она сказала:

— Хороший ты человек, Сеня.

Он возразил:

— Был человек, да сплыл. Теперь немец от меня полчеловека оставил.

А ночью мне почему-то не спалось. И Нюра не спала. В одной рубашке она сидела на подоконнике и смотрела на тёмную улицу. Сомневаюсь, чтобы она там что-нибудь могла увидеть. Я спросил шёпотом:

— Дядя Сеня тебе нравится?

Она даже не повернулась ко мне.

— Не твоя забота...

Через несколько дней дядя Сеня попросил меня написать письмо. И пояснил:

— Катя нашла меня... Надо ответить...

Я принёс из дома чернильницу-непроливашку, тетрадь в клеточку и ручку. Писал стоя на коленях перед садовой скамейкой. (Теперь дядю Сеню не возили на коляске — он учился ходить с помощью костылей.)

Сидя рядом со мной, он продиктовал:

«Родная моя жена Катя! Вот скоро год, как я мотаюсь по госпиталиям. Всякое бывало — одно время ногу хотели совсем оттяпать, а правая рука и теперь не гнётся. Главный наш хирург Людмила Михайловна, хорошая такая женщина, спрашивала меня перед операцией:

«Как тебе руку зафиксировать? В согнутом положении или прямом?» Я спросил её: «А в том и другом нельзя?» Она смеётся: «Никак нельзя. Она двигаться не сможет. Как заживёт, так и останется».

И я решил: лучше в прямом, чтобы косить можно было.

Ты спрашиваешь меня, почему я так долго молчал — а молчал я по причине неясности: что мне делать после госпиталя — домой возвращаться или какого другого пути искать? Без всякой доброты напиши, чтобы я никому потом не был в тягость. Лучше всё сразу выложи.

Поцелуй от меня Ниночку и Костю. Большие теперь, наверно, стали? Поклон также деду Захару и всем родным и знакомым...

С уважением и любовью твой муж Семён.

Потом дядя Сеня попросил:

— Дай сюда!

Взял написанный тетрадный лист, долго держал его в руках: то ли читал, то ли о чём-то думал. Посмотрел на меня с сомнением.

— Что-нибудь не так? — забеспокоился я.

(Уж больно не хотелось мне переписывать — Ольга Михайловна в школе с этим надоела.)

— Всё правильно, — вздохнул дядя Сеня и порвал письмо на мелкие кусочки. — Так-то лучше будет...

В ту ночь я слышал, как Нюра сидела у мамы на краю постели и рассказывала про старшую сестру Бахтину:

— Во всё нос сует... «Поставлю вопрос о пребывании...» Ну и пусть ставит... Не боюсь нисколько... И мне высказалась: «У вас не любовь, а сплошное затмение...» Много она смыслит, старая грымза...

Я повернулся на другой бок, чтобы лучше было слышно. Но ужасно догадливые эти взрослые.

— Тише, — шепнула мама, — Костя, кажется, проснулся.

И Нюра замолчала.

\* \* \*

Тогда же произошло ещё одно событие. По правде сказать, меня всё время мучило одно сомнение: «Как же я стану хирургом, если проявляю обыкновенную трусость?» Бывшая учительская не давала мне покоя.

И вот однажды вечером я подошёл к бывшей школе с той стороны, где рос последний тополь. Самое трудное было преодолеть гладкий ствол. Дальше росли ветки. Но я, конечно, взобрался наверх, хотя с головы слетела фуражка.

Стал смотреть в окно. В комнату ввели на высокой тележке кого-то прикрытого белым. Когда его перекладывали на стол, я увидел его лицо — оно было совсем молодое и похожее на лицо нашего Гриши. Я даже чуть не вскрикнул — сперва подумал, что это он. Но чудес на свете не бывает... И я заставил себя смотреть. И видел всё с самого начала до самого конца. Ни разу не закрыл глаза, хоть были моменты, когда мне становилось страшно...

С тех пор, как только освещались окна операционной, я взбирался на тополь и смотрел. Но никому из ребят я об этом ни словечка...

В госпитальный сад мы попадали всегда одним и тем же путём — знали место, где доска в заборе висела на одном гвозде. Дядю Сенью и Нюру я почти всегда находил в самом конце сада, в зарослях черёмухи, где кто-то поставил скамейку. Однажды здесь я застал Нюру, очень расстроенную. Она шла медленно, но меня почему-то не заметила. Я окликнул её. Она вздрогнула и подняла на меня заплаканные глаза:

— Ты куда?

— К дяде Сене.

Он сидел на своём обычном месте. По его лицу я тоже заметил, что и у него что-то случилось.

— Иди-ка сюда, — позвал он.

В руках у него было письмо и не треугольное, какие он получал из других госпиталей, а в длинном сером конверте.

— Нюра читать не захотела, а ты прочти...

Мне приятно было такое доверие. Я сел рядом и прочитал:

*«Здравствуй, мой многоуважаемый муж Семён Макарович! С низким поклоном пишет жена ваша Екатерина Самсоновна. Очень надеюсь, что на это письмо вы мне ответите самостоятельно, хоть левой как-нибудь. Неужели я заслужила такое, что вы и написать не желаете. А я к вам нисколько не переменялась.*

*Мне два раза писала ваша старшая сестра Бахтина — дай ей бог здоровья, такая расчудесная жениcina — и описала всё ваше со-*

*стояние и в настоящее время и на будущее. Скажу вам с полной откровенностью: какой ты ни есть — ты один у меня на веки вечные. И зачем ты в голову взял такую несурящицу. Что-нибудь придумаем насчёт работ. У нас Степанов уходит на пенсию, так, может быть, тебя возьмут на его место.*

*Косте брюки опять стали коротки. А Ниночка совсем барышня — Кости уже стесняется, когда утром одевается...*

*Ещё Бахтина писала про твой орден. Мы все тебя сердечно поздравляем: и я, и сестра Тоня, и её муж Егор Петрович, и Ниночка, и Костик. На том письмо кончаем. Жена твоя Екатерина Самсоновна».*

— Ну и что ты решил? — дочитал я письмо.

— Прямо не знаю, что и делать...

Он задумался, как будто забыв, что я рядом.

— Ты почему никогда ко мне не придёшь?

— Приду, — ответил он с готовностью.

Я сказал, что у меня есть деревянный линкор, совсем как настоящий, только маленький. Уж очень мне хотелось, чтобы дядя Сеня пришёл. И он сдержал слово (вот такие люди мне нравятся: сказал — сделал).

Он пришёл в воскресенье — точнее, не пришёл, а приковылял на костылях. Так далеко он ещё не ходил и очень устал. Когда Нюра увидела дядю Сеню в окно, она почему-то убежала наверх. Войдя и поздоровавшись со мной, он спросил:

— А где Анна Захаровна? Не заболела?

— Анна Захаровна?

Я ни сразу сообразил, о ком он говорит — прежде он никогда так не называл Нюру. Да и никто не называл. Я был уверен, что, услышав его голос, она сразу придёт, но её всё не было и не было. И я позвал:

— Нюра, дядя Сеня пришёл.

Тогда она спустилась вниз в новом платье (потом-то я понял, что оно вовсе не новое, только перешитое) и с губами, ярко накрашенными моим карандашом.

Вначале, мне кажется, они оба были почему-то смущены.

— Вы здесь живёте? — спросил дядя Сеня.

— Здесь, — отвечала Нюра.

Дядя Сеня подошёл к окну:

— Река у вас... Лёд идёт...

— Это Томь... Но со второго этажа ещё лучше видно. Пойдёмте, посмотрим.

Мне это не очень-то понравилось, так как он всё-таки пришёл не к ней, а ко мне — зачем же уводить от меня моего гостя. Уж сколько-то я понимаю — что вежливо, а что — нет. Они ушла наверх и, должно быть, он дал ей читать то письмо. Я понял по её вопросам:

— Значит, она — Самсоновна?

— Приёмщик сырья в сельпо.

Я всё ждал, что дядя Сеня спустится вниз, но сделать этого он не торопился, и потому пришлось понести показать ему линкор наверх. Корабль был не совсем ещё готов: его надо было покрасить, но масляной краски я нигде достать не мог, акварельная же долго не продержится, ведь ему не на столе стоять, а плавать. Дядя Сеня похвалил линкор, но без души — видно было, что думал о чём-то другом. Я ожидал совсем не того — каких-нибудь вопросов, дельных советов.

«Скорее бы лёд прошёл на Томи. Тогда бы можно испытать линкор на большой воде, а в ручье не хватит глубины», — думал я.

Потом пришла мама, но на это раз повела себя странно. Обычно очень гостеприимная, она с дядей Сеней держалась строго и ни разу ему не улыбнулась. И ничем не угостила (а у нас была копченая рыба — получили вместо мяса по продуктовым карточкам).

Дядя Сеня посидел и ушёл, и разговора хорошего не получилось, а я надеялся, что он подробно расскажет, как воевал с фрицами.

В общем, вышло всё совсем не так, как я ожидал. Нюра пошла проводить его и сказала, не обращая внимание на меня:

— Значит, надо ехать.

— Ты думаешь?

— Обязательно... Ведь там дети...

В первые дни мая наступил срок отъезда дяди Сени. Мама не позволила мне пропустить занятия в этот день, поэтому я отсидел все пять уроков и чуть не опоздал. К госпиталю я прибежал, когда автобус был уже заполнен. Уезжающие сидели на своих местах, только дядя Сеня стоял, опираясь на палочку, у кабины шофёра.

— Дядя Сеня, — окликнул я его.

— А, это ты?! — обернулся он ко мне.

«Это ты» не понравилось мне. В его голосе прозвучало разочарование, как будто он ждал не меня.

— Вот возьми. Передай своему Косте!

Я отдал линкор. Дядя Сеня взял его под мышку и обещал дома покрасить (масляной краски я так и не раздобыл).

— Тебя долго ещё ждать? — приоткрыл дверцу шофёр.

— Сейчас, сейчас... — ответил ему дядя Сеня и попросил меня:

— Слушай, Костя, будь другом... Позови Ньюру...

Видно, он забыл с ней попрощаться.

Ньюру я нашёл на втором этаже у окна, из которого она смотрела на автобусы. Я сказал ей, что дядя Сеня ждёт её.

— Вот ещё чего не хватало, — усмехнулась она. — Надо ему — пусть сам идёт...

— Ну и что?

— Так что сказать ему?

— Что хочешь, то и говори.

Когда я вернулся, автобус уже фыркал.

— Семён, ты что — остаёшься? — крикнул кто-то в окно.

— Я сейчас, ребята...

И ко мне:

— Ну что?

— Не хочет она.

В автобусе засмеялись:

— От ворот поворот...

— Вот и весь сказ...

— Ну, едешь или как?

— Еду.

Навстречу ему из раскрытых дверей потянулись руки.

— До свидания, дядя Сеня, — крикнул я. — Адрес-то помнишь?

— А как же... Я приеду на будущий год.

Автобус тронулся.

Бахтина, высокая, широкоплечая стояла рядом.

— Вот и ладно, — вздохнула она и пошла в госпиталь.

«О чём она? — подумал я. — Уехал мой лучший друг — что ж здесь ладного?»

Недели через две я получил письмо:

*«Здравствуй, дорогой Костик! Добрался я очень благополучно. До Красноярска ехал со своими ребятами, а дальше один. Но и тут мне повезло — попались хорошие попутчики: и за кипятком бегали, и в карты со мной играли. Дома тоже всё в порядке. Ребята вымахали — не узнать. Пока я по госпиталям кочевал, семья моя перебралась на другую квартиру — похожа на вашу. Тоже дом двухэтажный и из окна река видна — только у нас Амур. Теперь у нас две комнаты и даже с балконом. Будешь поблизости — заезжай к нам. Жизнь большая — может ещё встретимся. А пока учись на «четыре» и «пять». Привет Анне Захаровне. Адрес мой простой: Хабаровск. Почта мт. До востребования. С приветом, ваш Семён».*

О том, что приедет — ни слова. «Неужели обманет», — опечалился я.

Мама к письму отнеслась равнодушно, а Нюра заинтересовалась и попросила дать ей почитать, пообещав:

— Будешь письмо посылать, скажи. Я тоже своё вложу.

На другой день я напомнил ей, а она рассердилась:

— Не буду я писать.

— Почему?

— «Почему» да «почему», — передразнила она меня. — Не обязана я писать. Никому ничего не обязана...

Позже было ещё одно письмо:

*«Дорогой Костик!*

*Письмо твоё получил. Большое спасибо. Дела мои идут неплохо. Устроился заготовителем — езжу по деревням, принимаю шерсть, кожи и так далее. Работа мне глянется не очень, но плотничать теперь надо забывать — здоровья нет. Нога сильно болит, особенно к погоде, но на судьбу жаловаться не приходится — спасибо, что голова на плечах. Увидишь Бахтину Елизавету Андреевну, передай ей мой низкий поклон, хотя она, может, меня уже и не помнит... Пользуйся своими молодыми годами — учись на 4 и 5. Слушай учителей, они плохому не научат.*

*С приветом, Семён».*

Я хотел обрадовать Нюру:

— От дяди Сени опять письмо.

Но она встретила моё сообщение равнодушно:

— А мне-то что?

Сделала вид, что её несколько не интересует, что он пишет. Только я понял — это одно притворство. Письмо я положил на подоконник. Аккуратно так положил, а потом смотрю, оно сложено пополам и в конверт засунуто наспех, кое-как. Значит, читала она его, когда меня не было.

На это второе письмо я опять сразу ответил. Очень подробно описал все мелочи нашей жизни. А ответа не получил. Может быть, и не о чем писать ему? Нельзя же каждый раз наказывать, чтобы учился на 4 и 5. Я и без него стараюсь.

Ещё до Дня Победы уехали Кирьяковы. Мама пробовала их отговаривать:

— Живите... Ведь дома у нас всё поразрушено...

Лара и слушать не хотела:

— Теперь я ничего не боюсь.

— Небось опять за свою стенографию возьмёшься?

— Там видно будет...

На прощание Зоя подарила мне свою точёную ручку с маленьким компасом на конце. Перед самым отъездом она меня при всех взяла и поцеловала. Я думал, над нами будут смеяться, но никто даже не улыбнулся. (Наверно, надо было тоже поцеловать её, но я сразу не сообразил, а потом было уже поздно.)

Я сказал только:

— Пиши!

Зоя написала мне. Первое время они жили в каком-то подвале. Затем перешли во вновь отстроенный дом.

Вскоре мама поехала в Наро-Фоминск и привезла оттуда землю с братской могилы, где был похоронен Гриша. Фабричные сварили оградку и памятник, и мама положила под него эту землю в ящике из нержавеющей стали. На памятнике товарищи Гриши укрепили надпись: «Григорию Захаровичу Агееву (1924–1942 гг.), отдавшему свою жизнь за свободу нашей Родины (от его друзей из III цеха)».

\* \* \*

Вернулся прежний директор школы. Пришла Нюра и сказала мне:

— Тебя Иван Михайлович зовёт.

— Он вернулся?

Вопрос был глупый и Нюра не удостоила его ответом, — она вообще не любила лишних слов.

А между тем ужасно не хотелось идти к Ивану Михайловичу. Прямо ноги не шевелились, но я всё же пошёл. Надо, значит, надо — и никуда не денешься.

Дверь в его комнату была настежь открыта — я вошёл бесшумно. Ивана Михайловича я в первое мгновение не узнал: на глазах его были чёрные очки, а лицо всё в синих шрамах и рытвинах, как будто сшитое из кусков. Он сидел за столом и весь был поглощён своим занятием: перед ним лежала толстая тетрадь из плотных коричневых листов с мелкими пупырышками. Он ощупывал концами пальцев эти пупырышки и что-то шептал. Я понял, что он читает.

Внезапно он повернулся ко мне:

— Здесь кто-то есть?

— Есть, — отозвался я.

— Костя? Надумал теперь, кем быть?

— Надумал.

— Кем же?

— Хирургом.

Он улыбнулся одобрительно:

— Это дело...

Мне надо было сказать ему то, что тяжелее всего:

— Иван Михайлович, я без Рекса...

— Говори, — нахмурился он.

Я рассказал, как погиб Рекс.

— Жаль, — только и сказал Иван Михайлович, а я думал, он будет ругать меня, что недосмотрел. И вдруг он засмеялся:

— А помнишь, как я тебя с печки снимал?

— Мы сами слезли.

Мне стало обидно, что он не вспомнил ни о чём путном — только глупое происшествие с печкой.

— Пойдём, посидим на улице. Там скамейка.

Но сидеть долго не пришлось.

Послышался далёкий звонок. Иван Михайлович забеспокоился:

— Ну беги, а то опоздаешь...

— До свидания, — сказал я и ушёл.

Я не стал объяснять ему, что никак не опоздаю, потому что хожу теперь во вторую смену.

...Наконец наступил тот день, которого мы все ждали — День Победы. Люди радовались, смеялись, некоторые плакали. У нас было много слёз.

Пришло письмо от отца. Он опять находился в госпитале, в Челябинске. Мама отпросилась на заводе и решила поехать к нему. Я очень просил её взять меня с собой, но слёзы мои не помогли. Взяла она не меня, а Нюру. С ними я передал папе письмо и ту книгу, которую не дочитал — четвёртый том истории Ключевского.

Через неделю они вернулись — от Нюры я ничего не мог добиться, а мама сказала, что отец очень благодарен за книгу и обещал скоро приехать домой. Был ранен он тяжело — пулей в правое лёгкое, но теперь дело пошло на поправку. Когда мама и Нюра уезжали, они твёрдо договорились — не говорить отцу о Грише, но он почему-то догадался сам.

Вскоре пришло письмо от Зои. Она писала, что Серёга вернулся домой. Правда, разведчиком ему не удалось стать, но он наврал, что потерял родителей, и его определили на кухню одной артиллерийской части. Так он, хотя и не получил ордена, как мечтал, но побывал и в Польше, и в Венгрии, и в Германии. Командование хотело послать его в Суворовское училище, но Серёгу туда не взяли — и возрастом и образованием не вышел.

Скоро из госпиталя все уехали: и бывшие больные, и врачи, и сёстры, и Бахтина, и сам седой начальник.

В конце августа наша школа вернулась в прежнее здание. Из пеньков тополей, что спилили перед учительской, выросли новые побеги.

Всё пошло по-старому, вроде никогда госпиталя в школе и не было. Только первое время пахло лекарствами. Теперь и этот запах исчез. Мы-то, прежние ученики, помним всё, что было, а придут новые, как те даже не будут знать, что в нашей школе в годы войны размещался госпиталь, а в учительской была операционная.

Но об этом нельзя забывать.

# ПАТРИОТЫ БЕЗ РОДИНЫ

*Леонид ГАРТУНГ*

*Посвящаю жене, другу и  
помощнику — Ирме ГАРТУНГ*

## 1

ЭТО УТРО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО ничего необычного. Впрочем, это было не совсем уже утро: прохлада миновала и солнце начинало припекать.

Помню, мы сидели внизу в кабинете №5. Как обычно, каждый был занят своим делом: мы читали, конспектировали, делали выписки. Пахло книгами, осторожно ше-лестели страницы.

Все было как всегда, но это было уже 22 июня 1941 года. Мы спокойно готовились к экзаменам и не знали еще, что в это самое время на нашей западной границе уже несколько часов полыхала война, и первые фашистские бомбы уже упали на советские города.

Внезапно в кабинете появился студент четвертого курса Вася Садиков. Он прибежал с улицы, заговорил, задыхаясь от волнения:

— Там все побежали к репродуктору. Война с Германией.

Мы высыпали на улицу, но алюминиевый динамик замолчал. Собрались в вестибюле. Мальчишки закурили, хотя курить здесь категорически запрещалось.

Помню Альберта Брима. Это он сказал слово «отучились». Да, отучились на долгие четыре года (тогда, конечно, не знали на сколько). Студенты стали солдатами. Некоторые вернулись с войны и закончили учебу. А некоторые не вернулись, в том числе, и Вася Садиков.

Вспоминаю о нем. Вася — поэт и весельчак. Был безнадежно влюблен в одну нашу студентку. Теперь она бабушка, а его нет. Остались в памяти его стихи и почерк. Стихи, как я теперь понимаю, слабые, но искренние.

Помню и другого поэта — нашего студента Лешу Сверкунова. Вероятно, он имел большие способности, но и он не вернулся.

Вечером я пришел домой. Жили мы втроем: мама, тетя Муся (сестра отца) и я. Мама ничего не могла сказать, только молча плакала, а тетя Муся хмурилась. Они-то знали, что такое война не из книг. Обе были медсестрами в Первую мировую войну, а затем в Гражданскую.

На другой день в третьем корпусе Саратовского университета состоялось общее собрание студентов и преподавателей. Нас было много — в большой аудитории, как говорится, яблоку некуда было упасть. Те, которые не уместились в ней, толпились в коридорах. Секретарь партбюро Фронтасев провозгласил с трибуны:

— Война с Германией — это начало всемирной революции.

И мы были с ним вполне согласны.

В перерыве я поговорил с профессором Таубиным. Это был наш любимец — умница, эрудит, очень часто его лекция завершалась аплодисментами студентов. За одну ночь Таубин постарел на много лет. С гордостью он объявил мне:

— Сегодня я подал добровольцем. Будем вместе?

Из вежливости я утвердительно кивнул, хотя мне было ясно, что его не возьмут в армию — у него только одно легкое, да и возраст...

Случилось так, как я и предполагал: его не взяли. Дальнейшая его судьба сложилась трагически: уже после войны кто-то вспомнил, что еще в 1939 году он Чернышевского назвал космополитом. Конечно, говорить так было неверно — Чернышевский был не космополитом, а патриотом-интернационалистом. Таубин признал свою ошибку, но его никто не стал слушать — на него быстро наклеили ярлык «безродного космополита» и удалили из Саратовского университета. В эту пору модно было «разоблачать» евреев. Некоторое время Таубин работал в Вольском пединституте, затем в Ярославле, где и умер.

В дни войны все наши студенты подали заявление в райвоенкомат о том, что они хотят защищать Родину. И почти все оказались в армии, кроме Брима, Кроневаляда, Гонштейна, меня и некоторых других. Почему? Альберт Брим сообщил шепотом мне свою догадку:

— Дело в нашей национальности.

— Не может быть, — не согласился я.

Его предположение показалось мне слишком неправдоподобным — с детских лет нас учили совсем другому. И в университете никто из нас никакого значения не придавал различию наших наци-

ональностей — все мы были, прежде всего, студенты и отличались друг от друга, главным образом успеваемостью.

В те дни уволили из армии нашу студентку Ирму Дамер. Еще во время финской войны (1939-1940 гг.) она, не прерывая учебы, успешно закончила курсы медсестер военного времени. Теперь она подала заявление о желании идти на фронт. До отправки проходила стажировку в одном из саратовских госпиталей. В конце августа ее ППГ (полевой подвижный госпиталь) должен был отправиться на фронт, а Ирму вдруг вызвал начальник госпиталя и объявил ей, что ее, как немку, из армии демобилизуют.

Считая, что это какое-то недоразумение, Ирма поспешила в горвоенкомат, «пробилась» к самому военкому и рассказала ему обо всем.

Военком, криво усмехаясь, сказал ей:

— Откуда я могу знать, зачем вы так стремитесь на фронт?

Об этом я тогда ничего не знал. Да и кто такая Ирма Дамер? Одна из наших студенток. Правда, я несколько лет учился с ней в одной школе. Но я никогда не предполагал, что мы оба окажемся в Томске и она станет моей женой.

Всех студентов, которых не взяли в армию, направили на строительство военного завода.

Каждое утро я шел на другой край города, где располагались «новые фильтры». Что я там делал? Чаще всего вместе с другими ребятами грузил на тракторную тележку огромные отрезки бетонных труб, и через весь город ехал с ними на стройку. Там мы их сгружали и снова ехали на «фильтры».

Тогда-то и произошел со мной комический случай. Шел с работы, встретил одноклассницу, остановились поговорить. Во время разговора я вдруг заметил, что вокруг нас происходит что-то неладное. Прохожим показался подозрительным мой вид: соломенная шляпа, очки, лыжный костюм, старые сандалии. Явно переодетый тип! Какой-то военный, которого остановили прохожие, очень вежливо, но с металлом в голосе, обратился ко мне:

— Молодой человек, разрешите посмотреть ваши документы.

Предъявил ему свой студенческий билет, объяснил, кто я такой. Он извинился и отошел. На том инцидент и кончился. Вероятно, я ничего не понял, но моя собеседница фыркнула и, давась от смеха, пояснила:

— Тебя приняли за шпиона!

Вообще, в те первые дни войны все были чрезвычайно бдительны. Погаснет и снова зажжется свет в окне — значит, кто-то подает сигналы противнику. Закурит кто-нибудь в темноте — тоже световые сигналы.

Позже выпускников отозвали от стройки для подготовки к госэкзаменам. Должны были сдать всего один предмет, который назывался «Всемирная история». На подготовку к нему дали месяц: по случаю военного времени нас выпускали на год раньше.

Получал диплом в канцелярии университета. Здесь встретил нашего преподавателя Алексея Сергеевича Бартенева. Он читал нам первую часть истории средних веков. И, надо сказать, делал это отлично.

Он радостно пожал мне руку, что было для меня большой неожиданностью. До этого мы держались по отношению друг к другу весьма официально, пожалуй, даже сухо. Нет, это не была вражда — у нас не было ни малейшего повода враждовать, но, встречая его, я подчеркнуто сдержанно здоровался с ним, и он отвечал мне тем же. Видимо, мы просто не нравились друг другу. Бывает же такое...

Он оживленно поделился со мной своей радостью: сегодня утром он получил разрешение выехать в Ленинград, где находилась его семья и квартира.

— Счастливо! — от души пожелал я ему. Но пожелание мое ему не помогло: позже я узнал, что в Ленинграде он погиб. Во время блокады он остался в городе без семьи и умер от голода. Кто-то написал мне о его последних днях — сдирал со стены и жевал обои. Он знал, что листы бумаги приклеены к стене мучным клейстером.

Все мы были уверены, что война будет идти по схеме, начертанной рукой первого маршала. Вот почему одна знакомая студентка совершила кражу из областной библиотеки — из географического атласа вырвала и унесла карту Германии. Она была уверена, что война будет проходить только на «их» территории. И собиралась следить за ходом военных событий и действий.

Да и не она одна. Мы все так думали. Уже на другой день Саратов разительно изменился. Оконные стекла в каждом доме перекрестили бумажные ленты. Вечером на улицах не зажигались фонари. В витринах магазинов светились синие лампы. Начались воздушные тревоги, пока еще учебные.

И вот тут я узнал, что я не такой, как все. Об этом мне впервые сказал Альберт Брим, но я ему не поверил. «Отец немец» — стояло в моем паспорте. Этому факту я прежде не придавал значения. Среди моих друзей и близких знакомых были люди разных национальностей: Керим Усманов — казах, Борис Каменир — еврей, Феттях Рамазанов — татарин, Аня Эккерт — немка, Слава Шеметов — русский, Степан Подольский — украинец.

После окончания истфака я предполагал продолжать свою журналистскую работу (в студенческие годы был членом редколлегии университетской многотиражки и активно работал в ней).

На первом этаже редакции областной газеты располагалась типография, на втором — сама редакция.

С редактором газеты у меня состоялся такой разговор:

— Значит, хотите работать у нас?

— Хочу.

— Вот и отлично! Приходите к нам сразу, как только сдадите го-сэкзамены. Договорились?

— Да.

Недели через две я снова явился в редакцию.

— Еще трудно сказать...

— Не нужны работники?

— Нет, очень нужны.

— Боитесь, не справлюсь?

— Убежден, что справитесь... Но лучше зайдите завтра.

Но завтра продолжалось то же самое. Редактор мялся, тянул, а мне нужен был определенный ответ. Наконец, наступил день, когда редактор заговорил со мной почти откровенно.

— Как решили? — спросил я его.

— Пока никак. У нас все-таки областная газета... Время военное... А Ваша национальность — сами понимаете...

— Нет, не понимаю.

— Не понимаете?

Он тяжело вздохнул.

— В общем, есть мнение от приема воздержаться.

— Чье мнение?

На мой вопрос он ничего не ответил — потянул к себе какую-то бумагу и перестал смотреть на меня.

Я вышел на улицу. Мозг сверлила мысль: «Какая-то нелепость...» В то, что дело именно в моей национальности, трудно было поверить, но факты показывали, что это именно так: все друзья мои отправлялись на фронт, а я оставался дома. На фронте был друг моего детства Аля Бабушкин, там же были Лева Кибрик и Леша Сверкунов. В армию должен был уйти Миша Афонин. Он пришел ко мне, оставил какие-то бумаги и письма, какие-то тетради, лыжную куртку, шинель, которую носил зимой. На прощание мы провели с Мишей вместе весь день. Уехали на трамвае далеко за город (до 9-ой дачной остановки). Там ушли в лес. Выбрали уютное местечко в тени молодых лип. Кто-то был здесь до нас: в траве мы обнаружили несколько окурков и надушенный носовой платок. У тех, неизвестных, тоже, должно быть, состоялось последнее свидание.

Весь день мы провели вдвоем. Между прочим, Миша с возмущением отверг мои подозрения, что в армию меня не взяли из-за моей национальности.

— А в чем тогда дело? — спросил я.

— Не знаю, только не в том, что ты предполагаешь. Национальность тут не причем.

Больше мы об этом не говорили. Да, кажется, и не думали: очень уж хорошо было — небо, лес...

Когда стемнело, мы пошли к остановке. Начали было ждать трамвая, как вдруг решили идти в город пешком. Пошли по шпалам. Иногда сворачивали на песчаную тропинку рядом с рельсами. Мимо нас мчались полупустые, раскачивающиеся трамваи.

Попрощались у бетонного крыльца студенческого общежития на Вольской. Договорились, где встретимся после того, как закончится война. Что она закончится нашей победой ни у кого, ни у него ни у меня не было ни малейших сомнений. Останемся ли мы живы — вот этого мы не знали.

Потом было распределение. Я получил место историка в Балашовском районе Саратовской области. 27 августа 1941 года поехал на работу. Это было накануне Указа о ликвидации Республики немцев Поволжья. Но я об этом тогда ничего не знал.

Какое было настроение, когда уезжал из Саратова? Радостное. Радовал диплом с отличием, радовало, что начинается самостоятельная трудовая жизнь, приятно было, что не будет больше ни за-

четов, ни экзаменов (тогда я еще не знал, что вся жизнь — это один огромный экзамен).

Да, общее настроение было очень бодрое, но все же скребло на душе: было то, о чем невозможно было забыть — почему я еду не в ту сторону, куда отправились мои товарищи? Это временно... Это какой-то местный перегиб, — старался я себя успокоить.

Ехал я не один. Вместе со мной на учительскую работу направлялся Митя Дергачев. Я учился с ним в одной группе четыре года. Знал его, как способного, умного человека. От рождения он был слеп — вместо глаз у него зияли розовые мокрые впадины.

Вместе со своей женой и годовалой девочкой он ехал в Пады. Так же, как и Миша, он не разделял моих предположений, почему я не в армии.

— Мнительность, — строго заключил он и посоветовал:

— Старайся поменьше об этом думать. Возьмут еще...

В Падах Митя с женой и дочкой сошли с поезда.

В Балашовском РОНО я получил назначение в Пинеровскую школу. От райцентра до Пинеровки было километра три, не больше.

В школе меня встретили радушно. Мне тоже пришлось по душе директор и завуч, и сама школа: новая, двухэтажная, просторная.

Пришел со своей корзиной (чемодана у меня еще не было) на частную квартиру, где мне предстояло жить. Хозяйку, полную, словоохотливую женщину, звали Анастасией Семеновной. Жила она с сыном Виктором (комбайнером) и его женой Ольгой. Были еще двое своих детей — Коля и Марина — оба учились в школе.

Ее дом мне понравился — кирпичный, под железной крышей.

Хозяйка привела меня в небольшую комнату, которая предназначалась для меня. Из окна открывался довольно прозаический вид — кусок сельского двора, хлев, забор. За ним «бывший» сад. В нем когда-то росли яблони. Потом этот сад отрезали, как лишние сотки, и теперь из земли торчали лишь пеньки.

В этой комнатке я продолжал писать роман, который начал еще в Саратове. Роман этот носил громкое название «Мир полон сил». О каких силах шла речь, не помню теперь. Ничего не могу сказать о его сюжете и героях. Из всего романа запомнился только один образ: в городе начинался дождь и по пыльному асфальту покатались капли воды, словно кто-то рассыпал черное пшено.

Стирая слезы краем фартука, Анастасия Семеновна рассказала мне, что ее муж «сгинул ни за что по линии НКВД». Теперь он где-то в заключении. Третий год от него «ни единой весточки». За что осужден? Был он партийным, вел кружок политграмоты. Поспорил по этой самой «политике», со счетоводом Максимовым и плотником Николаевым. Если бы только спор — это бы еще ничего, но те написали на него письмо в органы: так мол и так, искажает линию. Ну и загремел на 10 лет.

Весь сентябрь старшие школьники не учились. Мы, учителя, работали вместе с ними на уборке картофеля. Картофельные поля располагались совсем близко — внутри села, между кварталами.

Собравшись в школе, мы направлялись на работу. Однажды, в конце урока, я нестати вспомнил о странной телеграмме, присланной мне мамой из Саратова. В ней она сообщала, что тетю Мусю эвакуировали в Томск. Многие в этой телеграмме было непонятно:

а) Неужели Саратов в таком опасном положении, что нужно эвакуировать пожилых людей?

б) Почему тетя эвакуирована одна, без мамы?

в) «Эвакуировали» — стало быть, ее желания не спрашивали. И почему именно в Томск?

Вспомнился разговор, который я случайно услышал в Балашове на улице.

Из него я понял, что мужчина этот — советский немец и его высылают. Тогда я подумал, что это меня не касается. Но разговор этот почему-то засел в памяти.

Ближе и приятнее других учителей был мне Иван Иванович Кучарин. Он преподавал математику в девятом классе. До войны ему не позволяли работать в школе (он болел туберкулезом), а теперь он стал моим коллегой. Мы много с ним говорили. Конечно, не только о математике, а обо всем на свете, но более всего о войне. Настроен он был пессимистически, я с ним не соглашался, мы много спорили.

Не без некоторых колебаний, я решил прочесть ему первые главы моего романа «Мир полон сил». Читал вслух на скамейке в огороде. Он слушал меня внимательно. Конечно, мне хотелось знать его мнение о прочитанном. По его лицу об этом нельзя было догадаться.

— Ну, как? — спросил я.

Он помедлил с ответом, потом в свою очередь спросил:

— Роман еще не закончен?

— Нет, здесь примерно половина...

— Ты его не закончишь.

— Почему?

— Не захочется.

— Почему ты так думаешь?

— А вот увидишь.

Его слова показались мне очень обидными, и, вообще, я всерьез огорчился.

Через несколько дней он уехал в Саратов на похороны двоюродной сестры. Вернулся с плохими новостями: в начале сентября куда-то переселили всех немцев Республики немцев Поволжья. Якобы среди них было много шпионов и диверсантов.

— Могут и меня, — сказал я.

Кучерин засмеялся:

— У страха глаза велики. Тебе ни о чем не надо беспокоиться. Если до сих пор ничего не случилось, то и теперь ничего не будет.

Я тоже так думал, но не беспокоиться не мог. Если целую республику... то что значу я, обыкновенный сельский учитель.

Все началось с обмена паспорта. Объясню подробнее. Так как я не отслужил в армии (студенческая отсрочка), у меня был не настоящий паспорт, а розовая бумажка с фотографией. В графе национальность было написано: «Отец — немец, мать — украинка».

Пошел в Балашов. Разыскал милицию. Протянул розовую бумажку в окошечко. Милиционер, кажется начальник паспортного стола, взглянул на нее и на лице его отразилось удивление. Он спросил меня:

— Как вы здесь оказались?

— А в чем дело?

— Вы немец?

— Там написано.

Он почесал затылок:

— Написано, но не очень понятно... Подождите, надо выяснить.

С озабоченным видом он ушел в другую комнату, и я слышал, как он с кем-то разговаривал по телефону. Вернувшись обратно, показал глазами на дверь:

— Поднимитесь к Вольскому. Второй этаж, комната шесть.

— Кто это?

— Начальник районного отделения НКВД, — пояснил он с почтением.

Пошел к Вольскому. Это был очень следящий за собой человек: гладко выбритый, с влажными волосами, разделенными аккуратнейшим пробором. Он внимательно выслушал меня, слегка улыбаясь. Я заметил, что он все время улыбается, словно играя в какую-то забавную игру. Когда я закончил, он вежливо сказал мне:

— Присаживайтесь, — и кому-то позвонил по телефону. Вошел знакомый милиционер с моим паспортом в руках. Вольский взял паспорт, и, рассматривая его, вздохнул.

— Ваш паспорт мы оставим у себя, а относительно вас самих запросим Москву. Она решит. Ждите!

— А сколько ждать?

— Мы сообщим вам, когда надо будет. Работайте спокойно.

И я пошел пешком назад в Пинеровку «спокойно работать».

Между тем, война приближалась, уже бомбили Борисоглебск, а это не так уж далеко от Балашова. Один раз появился их разведчик над Пионеровкой: рано утром я вышел на крыльцо и увидел: прямо на меня низко-низко летел самолет. Какой он был? Темно-зеленый, небольшой, без звезд на крыльях. Мелькнул и исчез.

Мужчины-учителя один за другим покидали школу. Получил повестку и Володя Шарунов. «Явиться с кружкой и ложкой». Помню, прощались с ним в Балашове, у его матери. Была не ночь, а скорее поздний вечер. Мы сидели за столом в маленьком садике. С ветвей какого-то дерева свешивалась электрическая лампочка, ярко освещающая стол и наши лица. Кто здесь был? Бывшие истфаковцы, которые работали в школах Балашовского района.

Нас было человек пять. Володя в голубой сатиновой косоворотке обвел нас глазами:

— Может быть больше не встретимся?

— Да брось ты, — дружно возразили мы, хотя и знали что он говорит правду.

Его мать налила нам по стакану молока, перед каждым положила по куску хлеба.

— Не обессудьте!

— Спасибо, все очень хорошо.

Нам и правда ничего больше не нужно было. Поели, крепко пожали Володе руку, пожелали ему «всего доброго».

Шел домой в совершенной темноте. Небо было закрыто низкими тучами. У горизонта раза два мелькнули розовые бесшумные зарницы.

В последующие дни ждал. Убедился, что ожидание очень плохая вещь. Все происходящее со мной казалось мне дурным сном. Наделся на Москву — «Москва разберется». Нужно спокойно работать и жить так, как будто ничего не случилось.

Написал маме в Саратов, чтобы она прислала мне зимние перчатки.

— Вот и зря, — покачала головой Анастасия Семеновна. — Зачем присылать? Лазаревна свяжет — ай да ну, и дорого не возьмет. Хочешь я закажу ей?

Я согласился. В результате у меня оказалось две пары перчаток. Присланные из Саратова и связанные Лазаревной.

В середине октября выпал первый снег. Он сделал белыми улицы, но лежал недолго, быстро растаял, оставив после себя невероятную грязь. В школу трудно было пройти.

До этого я получил свою первую зарплату. Не будь войны, нужно было бы отметить это событие как-то торжественно. Но не до того было.

Что делали мы, сельские учителя, в свободное время? (Хотя свободного времени, по правде сказать, у нас не было). Почти каждый вечер ходили по домам, собирали теплые вещи для Красной армии. Люди давали вещи очень охотно. И только теперь, через много лет, я понял, что вещи эти предназначались не только для Красной армии, видимо нужны они были беженцам и эвакуированным — тем миллионам людей, которые лишились всего. Ушли они от войны летом, налегке, надо было их во что-то одеть.

Числа двадцатого октября директор школы вполголоса сказала мне:

— Звонили из Балашова, просили вас явиться. Сказали, что вы знаете куда.

Да, я знал куда. Забилося сердце — решалась моя судьба. Отвел уроки, пошел в Балашов. Постучал в знакомую дверь.

— Можно?

Вольский поднял лицо от бумаг и посмотрел на меня. На этот раз он не улыбался и не ответил на мое «здравствуйте». Увидев меня, он сразу приступил к делу:

Спуститесь вниз к Никитину. Он выдаст вам новый паспорт.

Спустился на первый этаж. Дальше помню все неясно: какая-то комната, какой-то стол. Ясно осталось в памяти только лицо милиционера, который выдал мне новый паспорт — лицо серое, с ввалившимися щеками. «У него что-то с желудком», — подумал я.

— Куда хотите? — спросил он. — В Сибирь или в Казахстан?

«Выселяют», — понял я и ответил:

— Все равно.

— Все равно?

— Нет, нет, — я тут же поправился. — В Томск...

— Он в какой области?

— Кажется в Новосибирской.

Вместо розовой бумажки я получил настоящий паспорт в виде серой книжечки. Где-то на последней странице милиционер прилепнул прямоугольный штамп:

«Разрешается проживать только в ... области». От руки он вписал вместо многоточия ?????

Это был переломный момент в моей жизни. Надо было бы и вести себя соответственно, но на меня напало какое-то задорное настроение. Видимо сказалась молодость.

Я засмеялся неизвестно чему и сказал:

— Ехать так ехать...

И хмыкнул, вспомнив продолжение про попугая и кошку. Но милиционер не разделял моего настроения — он остался невозмутимо серьезным. Придвинул ко мне какую-то бумагу.

— Распишитесь что вам известно, какое будет наказание, если вы выедете за пределы Новосибирской области. Вот здесь...

Расписался, не читая, снова пошел к Вольскому.

Он несколько удивился: «Вы?»

— Перед отъездом мне необходимо побывать в Саратове.

— В Саратове? Теперь это невозможно. Вас там арестуют.

— Но у меня мать... хотел попрощаться... и зимние вещи...

— Вас там арестуют, — повторил он строго.

Быть арестованным, да еще в военное время, мне никак не хотелось. Последний раз взглянул на Вольского. Он смотрел на меня как-то брезгливо и с ожиданием. Я понял, чего он ждет и ушел.

Позже я понял, что мне была предоставлена исключительная возможность: меня спросили, где я хочу жить. Других не спрашивали...

Итак надо было ехать в Томск... На обратном пути в Пинеровку задорное настроение испарилось. Осталась обида... За что? И что это за Томск? О нем я почти ничего не знал. Кое-что мне о нем рассказывал мой одноклассник Юрка Усов. Он часто говорил:

— Уеду в Томск. Старинный сибирский город. Поступлю в университет.

Он рассказывал, что в Томске работает его дядя. (Позже я узнал, что этот дядя крупный ученый, что в честь него названа одна из улиц города, и что ему поставлен памятник возле Политехнического института.)

Вернулся домой. Анастасия Семеновна спросила меня:

— Ну, как?

— Придется ехать в Томск.

Она помолчала, а через некоторое время стала меня успокаивать:

— Ты не очень-то нос вешай. И там люди живут.

— Живут, — согласился я.

Ехать, конечно, очень не хотелось. Нравилась Пинеровка, да и в школе кое-что начало получаться. А, главное, — зачем ехать? Нелепость какая-то.

Почему-то я совершенно не помню — сколько времени мне дали на сборы. Собственно говоря, сборов не было — собирать-то было нечего.

Запомнился разговор с директором школы, Ниной Максимовной — она была искренне огорчена, что я должен покинуть Пинеровку. В школе и так уже не оставалось специалистов (все мужчины были призваны в армию). Преподавали те, кто сам едва знал предмет...

Университетские конспекты, книги и письма я решил оставить на хранение Кучарину. Его я застал в постели.

У него сидела Мария Поликарповна.

— Вот, прихворнул немножко, — виновато улыбнулся он.

— Что у тебя болит?

— Ничего... Температура немного... И вот тут покалывает, — он приложил ладонь к груди. — Но это пройдет... Так уже было.

Я показал ему новый паспорт.

— Значит в Новосибирск?

— Нет, в Томск. Там у меня тетя. Я к тебе с просьбой. Вот это, — я приподнял связку конспектов и книг. — Сбереги до зимы... Смотри, чтобы твои сорванцы не добрались. (У него было двое мальчишек.)

— Не беспокойся, все будет в целости.

Когда вышли на улицу, Мария Поликарповна проговорила сдавленным голосом:

— На этот раз он не встанет.

— Почему вы думаете?

— Врач мне сказал. Да и сам он понимает свое положение. Вы видели, какие у него глаза?

Так и случилось. Позже она написала мне в Томск: «Ушел из жизни...» Больше ничего не писала и не отвечала на мои письма. Может быть, я обидел ее чем-то?

О том, что я уеду, большинство учителей ничего не знало. Директор велела передать учебники и поурочные планы Марии Поликарповне. Она поведет историю вместо меня.

На листке бумаги я написал, что мне предстоит сделать перед отъездом. Выполненное зачеркнул. Осталось не зачеркнутым одно крупно написанное слово «деньги». В милиции я сделал вид, что могу ехать в любой момент, но, в действительности, ехать было не на что.

Занял у Марии Поликарповны, но она смогла дать только сорок рублей. Как с такой суммой отправляться в далекий путь? И тут неожиданно мне повезло — зашел в РОНО взять трудовую книжку и здесь в бухгалтерии случайно узнал, что мне полагаются подъемные в размере месячной зарплаты. Оказалось, их уже получил за меня завхоз. Получил, чтобы передать мне, но я об этом ничего не знал.

Несколько слов об этом завхозе. Был у нас в школе такой Семен Иванович. В каморке перед лестницей стояли у него весы. Здесь он развешивал хлеб учителям, что-то записывал за шатким столиком, надев продолговатые очки в железной оправе. Молчаливый, хмурый, всегда небритый, он наслаждался своей маленькой властью над учителями.

Между нами произошел разговор.

— Семен Иванович, вы получили мои подъемные?

— Подъемные?

Он задумался, словно вспоминал. Потом изобразил на лице радость.

— Ах, да. Вспомнил. Вот они... Как же...

Вытащил из кармана пачку денег, послунывил пальцы, отсчитал нужную сумму. Произнес несколько назидательно:

— Проверьте. На всякий случай. Деньги счет любят. И расписочку черкните...

Потом был последний урок. Смотрел на ребячьи лица и спрашивал себя: «Увижу ли их когда-нибудь?»

Ребята чувствовали, что я не такой, как всегда, и в классе стояла мертвая тишина. В конце урока я, как всегда, дал домашнее задание, но, диктуя его, подумал, что проверять его буду уже не я.

Анастасия Семеновна наварила мне в дорогу свиного мяса — большую алюминиевую миску.

— Зачем? — пытался отказаться я.

— В пути сгодится.

Первое, что я предпринял — это отправил в Томск до востребования рукопись моего романа. Рассчитал, что она придет раньше, чем я приеду. Тогда же отправил телеграмму маме, что я тоже «эвакуирован».

Начал свое путешествие с оплошности: на маленькой станции в Пинеровке купил плацкартный билет до Томска. За долгую дорогу он мне ни разу не понадобился. Никто не проверял билеты у огромной массы людей, двигавшихся на восток.

Помню свой отъезд. В доме было безмолвно: Анастасия Семеновна уехала к родственникам, дети спали на печке. Ольга на кровати в маленькой комнатке, а муж ее работал в ночь.

Мясо, которое мне приготовила Анастасия Семеновна, я забыл взять. Оно так и осталось в миске на кухонной полке.

Я привернул фитиль лампы и вышел на крыльцо. Сырой, холодный ветер ударил в лицо. Постоял, затем вернулся в дом, совсем погасил лампу и снова вышел на улицу. Тьма была непроглядная, и в этой темноте ослепительно светили огни железнодорожной станции.

Шагал посреди улицы, прямо по глубоким лужам. Сразу набрал полные галоши и ботинки холодной воды. Поискал в темноте школу и не нашел; представил себе темные, безлюдные классы, ряды пустых парт. Мысленно попрощался со школой.

На перроне Пинеровского вокзальчика репродуктор металлическим голосом сообщил печальную весть: наши войска после упорных боев оставили город Таганрог. Господи, когда же мы перестанем отступать?

Подошел мой поезд. Длинный товарный состав. И, конечно, никаких номеров на вагонах, никаких проводников. Залез в какую-то «теплушку» и сел на свою корзинку. В вагоне должно быть, было много людей, но никто ничего не спросил меня. Минут через десять тронулись. Кто-то рядом вздохнул облегченно:

— Слава Богу!

Это замечание, произнесенное с глубоким чувством, тогда удивило меня — я не знал еще, что наш поезд может без видимых причин стоять на месте по несколько суток.

Долго не светало. В темноте, на ощупь вылил воду из галош, снял ботинки и мокрые носки, после чего замотал ноги сухой тряпкой (обшивкой саратовской посылки, которую на днях прислала мама).

... С людьми в вагоне я мало общался. Все думал, вспоминал.

Запомнился старик, раненый осколком снаряда в плечо. Он сидел молча в углу. Запомнились также два дюжих молодца в милицейской форме — они ехали с женами, детьми и множеством чемоданов. Они заняли почти половину вагона.

Вскоре я понял, что наш поезд не особенно торопится. До Челябинска мы «добирались» дней десять. За это время я приспособился к железнодорожному быту, оброс колючей щетиной, отвык умываться, за питьевой водой ходил к паровозу. Но главной проблемой была еда. Купить съестное было почти невозможно. Питание на станциях было организовано только для эвакуированных — я таковым не был.

Станционные буфеты работали, но к ним устремлялось такое количество людей, что я не мог пробиться к стойке.

Кое-что выносили к поезду. Помню такой случай. Поезд остановился в степи. Вдали темнела деревенька. От нее к остановившемуся поезду шла женщина. В корзине, прикрытой белой тряпочкой,

она несла продавать что-то (как потом выяснилось, картофельные блинчики). Женщина приблизилась к поезду метров на сто пятьдесят. И тут случилось то, чего она никак не ожидала: из вагонов посыпались небритые, грязные люди и устремились к ней. Она быстро сообразила, что является центром притяжения для них, испугалась, оглянулась на деревеньку, затем присела, прикрыла корзину фартуком. На нее налетели, опрокинули вместе с корзиной, с хохотом расхватили блинчики.

— Миленькие, что вы... — кудахтала она.

Но «миленькие» не слушали...

Все это продолжалось несколько секунд. Она поднялась с земли, заплакала, подобрала кем-то брошенный мятый рубль.

Другой случай. Мы, с каким-то немного знакомым мужчиной (кажется, он был из соседнего вагона, тоже учитель) пытались купить картошки. Поезд остановился на какой-то маленькой станции. Возле станции — несколько тополей и около них — домики. Нам открыла девочка с подвязанной красной косынкой щекой. Она просительно посмотрела на нас.

— Нам бы ведро картошки...

— Нет у нас ничего, — отрезала она и вдруг почему-то подобрела.

— Вы с поезда? Эвакуированные? Заходите, немного можно...

Девочка полезла в подполье. Мы слышали, как стучали картофелины о жестяное ведро. И вдруг раздался лязг буферов нашего состава. Бросились бежать, чтобы не отстать от поезда.

Так и не купили картошки. А жаль — ее можно было отлично испечь на паровозе. Кочегар был добрый.

Да, с приобретением съестного мне не везло. На какой-то большой станции двое мужчин продавали из товарного вагона мясные консервы. Один брал деньги, другой вручал коробки. Их вагон окружала толпа. Пока я протискивался через нее, консервы кончились. «Пожалуй, это к лучшему», — утешал я себя. «Консервы эти, видимо, ворованные». Почему я решил, что они ворованные? Такое у меня создалось впечатление: те двое очень уж спешили, похоже, чего-то боялись. И еще: тот, который получал деньги, небрежно скомкав, не считая, совал их в карман.

Дальше Челябинска наш поезд не шел. Когда выходили из вагона, со мной случилось нечто вроде обморока. Должно быть от голода.

Нет, я не упал, но почувствовал сильную слабость и потемнело в глазах. Пришлось сесть на скамью и переждать, пока все пройдет.

Надо было найти какой-нибудь поезд, идущий хотя-бы до Новосибирска. Спрашивал всех подряд. Потом нашел подходящий поезд, но в него невозможно было втиснуться. Две пожилые женщины в форменных халатах (как выяснилось в разговоре, библиотекари из Москвы) заняли тамбур пассажирского вагона и ехали стоя.

Они согласились потесниться, но с условием, что я до Новосибирска буду кормить их. Сделка, естественно, не состоялась...

Здесь, в Челябинске, в огромном лабиринте чего-то ожидающих вагонов, я случайно наткнулся на эшелон выселенных немцев. Их под конвоем везли куда-то на Восток. Между прочим, конвоиры их не притесняли — разрешали свободно бродить по станции. Немцы ехали «богато» — у них в вагоне стояли кадки с соленым мясом и салом. Парни окружили меня, расспрашивали. Все хорошо говорили по-русски. Звали с собой. Мне очень хотелось поехать с ними, но я отказался: их везли неизвестно куда, а мне нужно было в Томск и только в Томск.

В конце концов, после долгих скитаний, мне удалось втиснуться в пассажирский поезд, который следовал до Новосибирска. Ехали на этот раз быстро, но, как и раньше, нечего было есть. Совсем нечего.

В Новосибирск мы прибыли в октябрьские праздники. На перроне под стеклом витрины помещалась газета. Я прочел, что торжественное собрание состоялось в Москве, на станции метро «Маяковская». Я хорошо помню эту станцию.

Огромный новосибирский вокзал несколько подавил меня. Высооченные потолки-своды, как в церкви. И везде толпы народа. Пойдешь — ступить негде — весь пол устлан людьми...

Неуютность усиливалась еще тем, что спуталось время. Я совсем потерял координаты: на моих наручных часах — саратовское время, на вокзальных — железнодорожное, и еще на одних — местное. Три времени, а сколько же сейчас в действительности?

На втором этаже помещалась столовая-ресторан. Вход в него только по военным билетам. Аппетитно пахнет щами. На мгновение дверь в столовую открывается, и я успеваю увидеть военного, который сидит за столом, покрытом белой скатертью, и что-то ест

вилкой. Эта вилка почему-то больше всего поразила меня. (От вилки за дорожку я уже успел отвыкнуть.)

У кассы очередь, но люди не стоят, а лежат. (Мозги мои все еще продолжали работать по довоенному образцу — я был убежден, что мне необходимо прокомпостировать свой билет).

Прощупываю почву:

— Давно вы здесь ждете?

— Третьи сутки.

Ого! Пробую на всякий случай занять очередь. Вдруг кто-то хлопает меня по плечу:

— А вы что здесь делаете?

Оглядываюсь: высокий блондин в чистом, синем пальто. Знакомое улыбающееся лицо. Кажется, это мой попутчик, мы ехали вместе в пассажирском вагоне.

Я объяснил ему, что занял очередь. Он засмеялся:

— Да бросьте вы!

— Как бросить?

— Идемте со мной. Вместе поедем в Томск.

И я пошел с ним. На ходу, взяв меня под руку, он пояснил:

— Мы купили вагон. Нашли печника — он поставил чугунную печурку...

«Вот врать горазд», — подумал я. Но он не врал. Их вагон стоял где-то на запасных путях. Подойдя к нему, он что-то кому-то сказал, и моя корзина исчезла в темном зеве открытых дверей товарного вагона. В руках моих оказался топор. Этот топор все время слетал с черенка, но при некоторой настойчивости можно было нарубить дрова из старых шпал, сложенные высоким штабелем, они лежали в стороне. Эти дрова нужны были для чугунной печки, которая стояла в глубине вагона.

Так я попал к «людям, умеющим жить».

В Новосибирске мы стояли несколько дней. Крепко стояли. Всем вагоном ходили хлопотать в какое-то важное железнодорожное учреждение, грозили пожаловаться какому-то высокому начальству. Женщины совали чиновникам в нос своих детей, плакали, убеждали. Но все это было напрасно — наш вагон, как стоял, так и продолжал стоять на запасном пути. Мимо нас мчались поезда на Восток, а мы продолжали стоять, хотя к нашим вагонам был прицеплен паровоз.

Я, как самый молодой в вагоне, взял на себя заботу об угле для печурки. Несколько раз взбирался по узкой лестничке на паровоз, и чумазый кочегар наполнял мне ведро углем. За то, что я добывал уголь, меня кормили. И, надо сказать, неплохо.

Мои попутчики состряпали фальшивый документ. Среди этих людей нашелся бывший начальник, который прилепал под его текстом круглую печать. Текст утверждал, что мы эвакуированная из Москвы организация, и далее следовал список. По этому списку мы несколько дней получали питание на эвакупункте. Щи и кашу я приносил в оцинкованных ведрах. Кроме того, несколько буханок хлеба нес за мной чернявый мужчина, похожий на цыгана.

Однажды кто-то спросил меня:

— А почему ты не в армии?

Действительно, почему? Пришлось наплести что-то о плохом зрении. Говорил и боялся поднять глаза... Было стыдно.

Тот высокий блондин в синем пальто, оказался зубным врачом из Одессы. Он все сокрушался:

— Один кабинет обошелся мне в сто тысяч. А сколько всего другого! Ковры, люстры, диваны... И все это пришлось бросить. Подумать только!

Все, оставленное в Одессе, не давало ему покоя. Ночами он не спал, вздыхал и курил.

Начались морозы, а мы все стояли на месте. Тщетно мы затыкали тряпками щели в стенах вагона. Тщетно круглые сутки топили печь. Все равно было страшно холодно.

Вскоре мои отношения с попутчиками испортились и весьма основательно. И вот почему: в очередной раз я взобрался по железной лесенке на паровоз и встретил недоуменные глаза нового кочегара:

— Уголь, какой уголь? Зачем?

— Но мы все время...

— Я не обязан, много вас...

Короче говоря, я вернулся без угля. Вот тут и разразился скандал. Кто-то сказал:

— Можно было набрать угля на любой платформе. Вон их сколько.

— Нет, нельзя, — возразил я.

— Попросить можно, а самому взять — совсем другое дело.

— Не все ли равно.

—Нет, не все равно.

Мои попутчики не хотели слушать меня. К тому же, они как-то узнали, что я немец. Со мной перестали разговаривать и, что хуже всего, «сняли с довольствия». Кое-что уделял мне чернявый мужчина, иначе мне пришлось бы совсем плохо.

Но в конце концов мы тронулись. Высокий блондин сумел договориться с машинистом («смазал колеса», как он выразился) и тот выдернул нас из тупика. Деньги на это «смазывание» собрали со всех обитателей вагона.

И вот, наконец, мы в Томске.

— Всего доброго, — попрощался я со своими попутчиками, но мне никто не ответил.

Спрыгнул на заснеженный, безлюдный перрон. Прошел через вокзал. За ним открылась маленькая площадь. В сумерках несколько дремлющих на козлах извозчиков. Один из них согласился подвезти меня до места (его начальник, которого он ждал, не приехал). Благо, что почти по пути. Поехали. Он обернулся, спросил меня участливо:

— Ты в ботинках?

И заметил, пожалуй, даже с некоторой гордостью:

— У нас без пимов не проживешь.

Я тогда не понял, что пимами он называл валенки и промолчал.

С любопытством разглядывал томские улицы. Вдоль них тянулись старые бревенчатые дома. Они были покрашены в темно-бордовый или темно-зеленый цвета. Почти у каждого из них вдоль карнизов висала побеленная кружевная резьба.

Первое и главное — чувство отчуждения. Все вокруг было незнакомым. В последующие дни это чувство усилилось.

Томичи говорили не «нищий», а «помирон», не «обсохнуть», а «пообывать», не «хлев», а «стайка». Даже небо было каким-то другим — более низким и бесцветным. Потом я ко всему этому привык, а вначале было не по себе.

Прощаясь, я спросил извозчика об оплате.

— Сколько с меня?

Он покачал головой и проворчал с сожалением:

— Что возьмешь с тебя?

ТЕТЮ МУСЮ Я ЗАСТАЛ собирающейся на работу. Она наскоро поцеловала меня, показала на плите нашу сковородку и ушла. Я остался с хозяевами. Это были старуха-портниха и ее слепой муж (бывший портной).

Я сходил за угол, купил бутылку водки. За завтраком угостил их. За кого они меня приняли? За горького пьяницу?

После завтрака я отправился осматривать город. В 1941 году я застал Томск таким, каким он, вероятно, был до революции: деревянным, без трамваев и автобусов, без телефонов-автоматов.

Во всем городе было лишь одно современное пятиэтажное здание (так называемая «пятихатка») — студенческое общежитие университета. Водопровода тогда в Томске не было — его заменяли круглые, двухэтажные «водокачки», где жители брали воду.

Асфальт я обнаружил только в центре, а на других улицах лежали деревянные мостки. Вопросительно смотрели непривычно большие окна домов. Они словно спрашивали: «Зачем ты приехал сюда?»

В тот день я перевел свои наручные часы на местное время. Думал, что перевожу ненадолго, как оказалось, навсегда.

Чтобы прописаться в Томске, нужно было иметь справку о том, что прошел «прожарку», т.е. что ты помылся в бане, а одежда твоя обработана паром высокой температуры. «Прожарка» помещалась недалеко от того места, где я поселился. В так называемой «Громовской бане». Пока я мылся, мою одежду обработали, причем, это необходимое дело выполнили так небрежно, что я получил свою одежду совершенно мокрой. Кое-как я натянул ее на себя, а на улице она затвердела от мороза. Домой пришел словно в рыцарских латах.

Но эта прожарка мало помогла. От вшей невозможно было избавиться, так как за перегородкой, в той же комнате жил слепой старик, а у него их была тьма-тьмущая.

Каждое утро начиналось с того, что я бежал «по воду» с коромыслом и ведрами. «Бежал» — это не для красного словца. Действительно бежал — меня подгонял лютый мороз, к тому же нужно было принести воду задолго до того, как тетя уйдет на работу.

Много переживаний доставил мне мой роман, рукопись которого я отправил из Пинеровки. Ходил, узнавал по почте каждый день. И всякий раз слышал одно и то же:

- Еще не пришла.
- А когда придет?
- Наведывайтесь.

Месяца через полтора рукопись пришла, но тогда я был уже глубоко равнодушен к ней. Она пригодилась мне только затем, чтобы растопить печь.

Почти весь первый месяц моего пребывания в Томске я потратил на поиски работы. Долго не мог найти ничего подходящего. То работа не годилась для меня, то я сам не годился. Помню, пришел в ВИЭМ (всесоюзный институт экспериментальной медицины), эвакуированный в Томск из Москвы, беседовал с заместителем директора. Он готов был взять меня секретарем, но мы споткнулись о стенографию. Я изучал ее в Саратове, но не достиг самого главного в этом деле — скорости.

Помню также, как направился в какую-то среднюю школу в конце Алтайской улицы. Здесь мне предложили место преподавателя физкультуры. Очень хотелось снова работать в школе, но согласиться было невозможно. В этой должности неминуемо выяснилась бы моя штатская сущность — я не служил в армии и не умел подавать команды.

Наконец, заместитель заведующего ГОРОНО Зайцева предложила мне подходящее место — преподавателя истории в вечернем дошкольном педучилище. Такая работа меня вполне устраивала. Не было только своей столовой. «Как-нибудь», — подумал я и согласился. Между тем, наличие или отсутствие столовой имело тогда очень большое значение. Этого я не понял.

Мои ученики, вернее, ученицы, на уроках часто вздремывали. Вначале мне казалось это обидным, но потом я понял, что это вовсе не знак пренебрежения ко мне...

Дело было прежде всего, в возрасте: днем эти старушки (в ту пору люди старше сорока казались мне старыми) весь день работали в детских садах, уставали с детьми, а вечером должны были учиться. Жили они так же как я, т.е. голодно и холодно. Немудрено, что Древняя история вызывала у них сонливость.

В том же вечернем педучилище преподавала русский язык и литературу сама Зайцева. Мы часто беседовали с ней о книгах. Пишу о ней потому, что жизнь еще не раз сталкивала нас. В то время она ка-

залась мне сердечной и отзывчивой женщиной. В моем окружении она была единственным человеком, с которым можно было поговорить на литературные темы.

Работал я только вечером, по два часа. В ту пору у меня было немало свободного времени. Я много читал. И заметил: когда читаешь, не так хочется есть.

Между тем, добывать пищу становилось все труднее. Много сил и времени я тратил на то, чтобы попасть в городскую столовую, где кормили «без прикрепления». У ее дверей я занимал очередь в два-три часа ночи. Бегал греться на почтамт. Здесь можно было постоять на лестнице и немного придти в себя от пятидесятиградусного мороза.

В столовой подавали суп с ржаными галушками в тяжелых глиняных мисках. Я обычно заказывал официантке порций восемьдесят. Часть галушек съедал, а остальные, слив горячую воду, уносил домой тете Мусе.

Большую радость доставляли письма. Довольно часто писали Миша Афонин и Леша Сверкунов. В детстве Леша жил в Хабаровске. Отец его был художник. В 1937 году отца арестовали и расстреляли. А мать Леша сошла с ума. Перед войной он учился со мной на истфаке, писал хорошие стихи, а потом ушел добровольцем в армию. Там он тоже писал стихи, которые мне очень нравились. Я и сейчас убежден, что это был чрезвычайно талантливый поэт.

Сперва Леша служил в музвзводе, а потом случилось так, что отступая, пришлось бросить все музыкальные инструменты. Тогда он взял в руки винтовку. Потом письма от него перестали приходить, и только через несколько лет я узнал, что он погиб под Черновицами.

От Миши Афонина однажды долго не было письма, потом пришла открытка — оказывается, его молчание не было случайностью. Он четырнадцать дней бродил по тылам (их дивизия попала в окружение и рассеялась). Питался травой и в состоянии тяжелой дистрофии вышел к своим. Писал он мне из госпиталя, куда его поместили.

Писал и позже из Вены, где служил, писал и после войны. Писать в то время немцу, хотя и советскому, было весьма предосудительно. «Начальство несколько раз вызывало его и ему задавали вопрос: «Может быть, не стоит писать?», но он отвечал твердо: «Стоит». И его оставили в покое. Он рассказывал мне об этом только через много лет, приехав ко мне в гости в Калтай.

Не переставала писать и бывшая студентка истфака, с которой мы четыре года учились в одной группе, Шура Масычева. Должно быть, ей это тоже было нелегко.

Тогда же случилось в моей жизни большое событие. Правда, в то время я не считал его большим. У меня заболело горло, и я направился в поликлинику. Было раннее, очень холодное утро. Я шел по проспекту Тимирязева. Фонари освещали березы, покрытые инеем.

И вдруг среди встречных людей мелькнуло знакомое лицо:

— Ирма!

— Леня!

Никак я не ожидал встретить ее здесь. Однако мы встретились и не могли расстаться. Оказалось очень многое нужно рассказать друг другу.

Ирма дала свой адрес. Потом я часто приходил к ним в тесную комнатенку на Новгородской. Жила она тогда с родителями, сестрой Эльзой и братом Альфредом. Училась в Университете...

Конечно, я тогда не думал ни о чем дальнейшем, просто рад был, что встретил знакомого человека. Не думал, хотя сама судьба упрямо подталкивала нас друг к другу. Сперва мы воспитывались в одном детском садике, потом учились в одной школе. Затем и она и я поступили на истфак СГУ, и, наконец, были высланы в один и тот же сибирский город.

Ирма рассказала мне, как они уезжали из Саратова.

Последние дни августа. Нам было сказано: подготовиться. А как подготовиться к такому? Посуду, книги, настенные часы отдали на сохранение знакомым. Мебель вынесли на улицу для продажи. Но торговать стеснялись, да и не умели. Хорошо, что вызвались добровольные помощники — соседи.

Вообще говоря, саратовцы проявили к немцам и симпатию и сочувствие. Утешали, уверяли, что тут какая-то ошибка и все скоро вернутся обратно, чем могли помогали в сборах. Многие приносили продукты, деньги. Причем зачастую среди этих людей были не только друзья и родственники, а просто соседи с той же улицы, иногда, даже незнакомые! Добрые, милые люди...

Только квартирная хозяйка Ионкина выскочила на крыльцо и закричала:

— Что за базар здесь устроили?

Но ее старшая дочь Нина увела ее, стыдя, что у людей такое горе,

а она устраивает им, соседкам, которые взялись продавать что можно из вещей, скандал.

Отец, укладывая самые необходимые вещи в большой сундук, считал, что не доедут они до места живыми, что где-нибудь пустят их состав под откос (слишком уж страшные обвинения фигурировали в Указе о переселении). Чтобы осталась какая-то память о сгинувших, он написал на крышке сундука: «Дамер Петр Петрович из Саратова». Но самым тяжелым было не то, что бросали на произвол судьбы нажитое тяжелым трудом — хорошая обстановка, отличная библиотека. Тяжелее всего было сознание, что тебя изгоняют из родного города.

Все это рассказала мне Ирма.

...Весной столовая закрылась. От голодной слабости ноги не ходили. Работать преподавателем я уже не мог. Подал заявление об увольнении по «собственному желанию». Зайцева осведомилась довольно небрежно:

— Что заставляет вас?

Я рассказал откровенно, что со мной, но она никак на это не реагировала. А ведь ей ничего не стоило тогда помочь мне: прикрепить к какой-нибудь столовой. Тогда большинство учителей обедали в столовых. Но она не захотела помочь: я был не из тех людей, которым имеет смысл помогать.

Но я не унывал. Именно в то время у меня созрел план, простой, но «блестящий»: поехать в какой-нибудь колхоз и заработать там хлеба. Сосед проработал в прошлом году осень в колхозе «Таежный сибиряк» и немало заработал. Я сам помогал сгружать ему с телеги мешки с зерном.

Кроме того, по радио часто передавали, что колхозники, которые честно работают, немало получают за трудодни. А я собирался работать именно честно...

Попал я в деревню Аркадьёво, Кожевниковского района в колхоз «Красный колос». Четыре месяца я работал вместе со всеми. Очень трудно было вначале. Ежедневно мне выдавали всего один стакан зерна и поллитра молока. Зерно я толок, варил из него кашу и разводил ее молоком. Один раз в день я наедался, но только один. Это был «поддерживающий» корм — я не умирал с голода, но и работать не мог. Понимал это и председатель колхоза.

Впрочем, был я тогда молодым, здоровым и все жизненные невзгоды казались мне временными трудностями. А кто в то время не испытывал их.

Осенью в колхозе появился новый хлеб и стало много легче. Теперь мы стали работать — это было гораздо легче вынужденного безделья. Но и теперь было голодно, особенно утром, до обеда.

Да и вообще, жилось мне тогда несладко. По ночам не давали спать клопы, во время работы досаждали комары, после работы мешали отдыхать дети квартирных хозяев.

У меня не было даже подушки под голову, ночью я подкладывал кирзовую сумку, с которой ходил на поля. Но самым невыносимым было отсутствие соли. В колхозе соль была и в немалом количестве, но ее не давали, председатель колхоза говорил: «Бережем для собственного питания». Тогда я ему верил, но позднее догадался, что соль служила ему «обменным фондом». За соль можно было в ту пору получить все: и железо для кузницы, и веревки для возжей, и даже вошину для ульев. Своим колхозникам потихоньку иногда давали. Но я не получил ее ни разу. Словно в насмешку, мне ежедневно выдавали три килограмма огурцов, но без соли они не лезли в горло.

Страдали от недостатка соли и колхозники: кругом была тайга, она была полна грибов, в огороде созревали огурцы и капуста, но большая часть их пропадала, соли для заготовки на зиму у людей не было.

Очень нуждалась тогда деревня в промтоварах. Шел 1942 год, конца войне не было видно, а у крестьян не было во что одеться. Ходили в «ремках» (так в Сибири называются лохмотья).

Один раз на работе произошел со мной неприятный случай. В колхоз приехал директор МТС, молодой, но очень толстый человек. Он приехал на автомобиле и отправился на поля. Его машина остановилась недалеко от того места, где мы работали у молотилки. Я складывал солому в скирду. Признаться, я в тот день работал без увлечения — очень уж хотелось есть. В голове была одна мысль — как бы не упасть, продержаться до обеда.

В автомобиле вместе с директором сидел наш председатель колхоза. Кто-то сказал мне, что он зовет меня. Я спрыгнул со скирды и подошел к машине. Директор МТС смерил меня презрительным взглядом:

— Меня тошнит...

Первое мгновения я подумал, что он заболел. Но почему в таком случае обращается ко мне? Я ведь не врач. Видимо мое недоумение выразилось у меня на лице, потому что он усмехнулся и продолжал свою мысль:

— Меня тошнит смотреть, как ты работаешь. Разве так работают?

Я отошел от машины и опять взялся за вилы. Не стоило объяснять этому раскормленному, благополучному человеку, что я голоден и потому лучше работать не могу.

В сентябре у меня разболелась нога. Серьезно разболелась. Председатель решил использовать меня, как сторожа.

Караулил я хлеб на полях. Работа была хотя и опасная, но нравилась мне. Кругом стояла осенняя тишина. Ночью она была такой прозрачной, что явственно было слышно, как березовый лист, падая с дерева, задевает за ветки.

У меня горел костер. К утру он медленно потухал, ленивое пламя лизало две-три ветки, и мне думалось о тех временах, когда я был в Саратове обыкновенным человеком, а не ссыльным. Это было совсем недавно, но казалось, что с тех пор прошла целая жизнь.

Вначале я о возвращении в город не думал, хотя все, кто приехал со мной, самовольно ушли в Томск. Я не был мобилизован на сельхозработы, как они, но не считал возможным уехать из деревни. Осталось нас в колхозе двое: я и Драница. Он с женой и несколькими ребятишками решили навсегда поселиться в деревне.

...Осенью начались занятия в Аркадьевской школе. Из ее здания была срочно вывезена хранившаяся там картошка, помещение было побелено.

И меня неожиданно потянуло к этой школе.

Однажды, когда я вернулся с полей, при свете костерка на шестке печи прочел письмо из Томска. Письмо от мамы. Она ждала нашего возвращения в Саратов, но потом поняла, что это дело нескорое, а жизнь проходит. И приняла верное решение: ехать в Сибирь. Из домашних вещей кое-что раздала знакомым, кое-что продала за бесценок и приехала в Томск. К письму была приложена маленькая паспортная фотография мамы. О, господи, какая она стала! Совсем старушка...

Я часто думал о ней — представлял, какой она была в нашей саратовской квартире с большим окном на Волгу. И вдруг мама здесь, близко...

Позднее она мне рассказывала, что в Саратове последнее время очень трудно стало с питанием, вернее, без питания... Участились ночные налеты авиации. Бомбили Крекингзавод, электростанцию...

После этого письма мне страшно захотелось вернуться в Томск.

Я написал маме — умоляя ее сходить к Зайцевой и рассказать ей, как мне хочется вернуться на учительскую работу. Ведь Зайцева сама педагог, должна меня понять! У меня в этом не было сомнений. Я вспомнил наши беседы в вечернем педучилище о книгах, писателях, о различных методических тонкостях нашей профессии и думал, что она знающий, любящий свое дело учитель, она часто говорила, что недовольна тем, что пришлось уйти на административную работу.

Я надеялся, что она позвонит в Кожевниковский райисполком и убедит кого-то, что меня надо отпустить домой, ведь начался учебный год. Я знал, что в Томске учителей не хватает — многие учителя-мужчины воевали на фронте.

Во всяком случае, вспоминая доброе отношение Зайцевой ко мне, я был убежден, что она что-то сделает для меня. Мама побывала у Зайцевой и говорила с ней обо мне. Та сделала недоумевающее лицо:

— Гартунг, вы говорите... А кто это? Я такого не знаю.

Таким образом, с досрочным возвращением в Томск ничего не вышло. А самовольно уехать из колхоза я не хотел. Пришлось остаться в «Красном колосе» до первых морозов, т.е. до тех пор, когда кончатся полевые работы.

Еще в начале осени я подозревал, что из моего «блестящего» плана заработать несколько мешков зерна, ничего не выйдет. Так оно и оказалось: за четыре месяца мне удалось заработать всего шестнадцать килограммов муки.

Расставаясь с «Красным колосом», я пришел в правление колхоза за справкой, что я демобилизован (без нее мне не продали бы билет в паровой кассе). Здесь я увидел районного прокурора. Меня поразило, как он выглядел. Это был человек словно из другого мира. Как сейчас вижу его перед собой: невысокий, полный, с довоенным

цветом лица (все окружающие меня люди выглядели совсем не так — были худыми, бледными, с землистым цветом лица: много работали, плохо питались, вернее, жили впроголодь, одеты в драное тряпье).

А на нем был новенький черный полушубок, неподшитые валенки, на голове меховая шапка-ушанка. И держался он не как гость, а как требовательный хозяин.

Он строго спросил у председателя:

— Как у тебя с зерновыми?

— Сегодня ночью последний сноп обмолотили.

— Добро... А с картошкой как?

— Выкопали всю, но тонн двадцать еще на полях.

— В буртах?

— Ну да... Возим.

— Охрану поставили?

— А как же.

— Надежные люди?

— Вполне.

— А кто именно?

— Гейст, Пистер...

— Немцы?

— Ага.

Прокурор возмутился:

— Ну и ну! Тоже мне додумался, пустил козла в огород. Он несколько раз повторил это выражение, должно быть, оно ему особенно понравилось. Говорил он властным баском, уверенный, что его не перебьют.

— Козла в огород... Замени немедленно!

— А где я людей возьму? — пытался возразить председатель.

— Где хочешь, это твое дело, — оборвал его прокурор.

— Хоть сам встань караулить.

И, помолчав, спросил:

— Слышал, что говорю?

— Слышу.

— Вот так-то.

Этими «козлами» были две ссыльные немки, старые, больные. По состоянию здоровья они могли только сторожить.

С ОТЪЕЗДОМ МНЕ ОЧЕНЬ не повезло. Приехал с почтой в Кожениково и узнал, что последний пароход в Томск только что ушел. Колхоз отпустил меня слишком поздно. У меня были две возможности: или идти в Томск пешком или зимовать в Аркадьёво. Оставаться я, конечно, не хотел, но и идти пешком было непросто: со мной было то, что я заработал. Кроме того, у меня серьезно болела нога. Но делать было нечего, надо было идти. И я пошел. Вернее, не пошел, а побрел, сильно хромая, с трудом засунув распухшую ногу с ботинок. Шел четыре дня. Удивительно, что в пути опухоль на ноге исчезла, и я прибыл в город, почти не хромая.

Ирму я в Томске не застал. Она в то время была уже мобилизована в стройбат. От Петра Петровича, ее отца, я узнал, как она уезжала. Доктор исторических наук Фаина Ароновна Хейфец ходила в горком партии — убеждала, что Ирму нельзя отправлять в стройбат, что она очень способная студентка, из нее выйдет настоящий научный работник. Но все было напрасно. Утром в день отправки Ирмы она пришла к ним домой попрощаться и принесла кое-какие продукты на дорогу. Ирма пыталась отказаться, но старушка настояла на своем.

— Возьмите, а то обидите меня.

Поцеловала Ирму со слезами на глазах и ушла, оставив то, что принесла на столе.

... Мама поступила работать медсестрой на завод резиновой обуви.

Каждый день начинался с того, что мы включали репродуктор, чтобы узнать о делах на фронте. Они были неутешительны, но мы твердо были уверены в нашей победе.

Опять на некоторое время я оказался без работы. К Зайцевой в ГорОНО я больше не пошел, раз она меня «забыла».

Между тем, в Томске, я обнаружил знакомых. В Саратове они жили недалеко от нас. Марта стирала нам белье. Ее-то я и встретил на улице, когда безуспешно ходил по городу в поисках работы. Она обрадовалась мне как родному и стала спрашивать:

— Заходи, обязательно заходи.

Через несколько дней я пошел к ним. Жили они в бывшей кухне. Ее муж, хромой Франц, по-прежнему сапожничал. У них было четверо детей — Герман, Ваня и девочка Катя. Кроме них, я увидел еще Артура, который родился незадолго до отъезда из Саратова.

Сам Франц сидел на низенькой скамеечке перед окном и подшивал чей-то валенок. Как всегда, он был молчалив, на что-то сердит и, когда произносил несколько русских слов, то слышался сильный акцент.

— Не обращай на него внимания, — сказала Марта, — мы очень рады, что ты зашел к нам.

Заходил я и позже. Вечерами вся их семья была дома. Самой разговорчивой была Марта — полная, всегда улыбающаяся. Глядя на нее, никак нельзя было подумать, что она немка — типичная русская деревенская баба. Только некоторый акцент выдавал ее.

Герман — высокий мальчишка, почти уже юноша, неразговорчивый, вежливый, работал на заводе учеником токаря. Ваня — смешливый, внимательно слушающий, что говорят взрослые. Катя — маленькая женщина... У нее свой уголок, где куклы, цветные стеклышки, тряпочки. Артурчик пускал пузыри, болтал ножками, еще не знал, что он ссыльный.

Марта спросила:

— Уже привык здесь?

— Начинаю привыкать.

Она возразила.

— Не надо привыкать! Наша Родина там... она махнула в сторону, где, предполагала, находится Саратов.

— Пешком бы домой ушла. Мне поезда не надо.

— Не дошли бы — далеко.

— Нет, дошла бы. Только бы разрешили.

Это я неправду сказал, что начинаю привыкать. Сказал, чтобы успокоить их. В действительности, мне почти каждую ночь снился Саратов: «Астория», Липки, далекие огни, которые видны были вечерами из нашего окна. Снилось Волга, острова, тальники, плеск весел.

По совету Петра Петровича, отца Ирмы, поступил столяром третьего разряда на производственный комбинат Главснабторга

(теперь этого длинного, неуклюжего здания на берегу Утайки уже нет, его снесли и правильно сделали, на его месте растут красивые молодые елочки).

На работу в комбинат меня приняли охотно: здесь было много детей и женщин и почти не было мужчин.

Что я делал на комбинате? Все, что скажут — пилил, строгал, таскал. Рядом со мной работали мальчишки, лет по десяти-одинадцати. Им бы в прятки играть, а они работали как мы, по двенадцать часов в день, без выходных: шла война...

Любопытно, что отношение нашей квартирной хозяйки ко мне разительно менялось в зависимости оттого, где я работал. Когда я был преподавателем педучилища, она относилась ко мне с явным почтением. А когда стал столяром, она принялась говорить мне «ты» и называть по имени.

Каждое утро, еще в темноте, я шел в комбинат. Морозы в ту зиму стояли лютые. Дым многочисленных печек не мог подняться и душным туманом висел над городом.

Очень часто я приходил раньше других. В мастерской рабочих еще не было. У чугунной круглой печки дремала уборщица. Я хорошо помнил ее по Саратову — это была моя бывшая учительница, у нее я учился в 4-м классе. К ней жалась ее маленькая дочка Лиля. Екатерина Ивановна была не только моей бывшей учительницей, она была также родной теткой Ирмы...

До того, как Екатерина Ивановна стала уборщицей, она преподавала русский язык и литературу в школе на Черемошниках. Человек с университетским образованием, она в совершенстве знала предмет и владела методикой его преподавания — в Саратове она много лет состояла в комиссии по разработке учебников.

Печальную историю ее я знал хорошо. В 1941 г. ее, как и всех немцев, выселили. Так она попала в Томск. В 1942 г. решили ее уволить из школы — немка и вдруг преподает русский язык! (Впрочем, как я потом узнал, к этому времени всех немцев-учителей под различными предлогами убрали из школ, наверное поэтому и Зайцева «забыла» меня).

К Екатерине Ивановне на урок пришел инспектор ГорОНО, посидел, прослушал и сделал заключение: «Учительница слабо раскрыла образ Морозки в «Разгроме» Фадеева. Этого надуманного замечания было достаточно, чтобы снять такую знающую опытную учительницу

с работы. В других школах ей отказали в приеме, хотя учителей-специалистов не хватало. Так она стала уборщицей. В ее обязанности теперь входило придти в комбинат в семь утра, подмести вчерашние стружки, растопить печь, чтобы к приходу рабочих было тепло.

Настоящих верстаков у нас не было. Первое время в мастерской стоял широкий стол — по одну его сторону работал мастер Драгилев, по другую — я. Драгилев славился, как очень хороший мастер. Был он прекрасным столяром-краснодеревщиком, но на комбинате выполнял большей частью простые работы.

Был у нас парнишка, длинный, худой, Сережа Линдер (я сразу запомнил его фамилию, так как до революции был в кино знаменитый комик — Макс Линдер).

В Сереже было нечто, что невольно вызывало симпатию к нему. Может быть причиной этому была его природная доброта, даже детскость. Он словно жил в каком-то другом мире, где властвовали какие-то иные законы.

Однажды мы с ним шли домой вместе. Я нес мешок с ненужными обрезками досок (у нас в мастерской их называли «шабашками»). У подъема улицы он остановил меня и спросил:

— Давай, я помогу.

— Я сам.

— Не хочешь? Напрасно. Люди должны помогать друг другу.

— Где ты это прочел?

— Не прочел. Отец говорил.

— А где твой отец?

— Там...

Он показал на небо.

— Ты веришь в Бога?

— Может быть...

— Что значит — может быть?

— Не знаю.

И вот с этим Сережей случилась беда. На обед мы ходили в столовую, где теперь помещается Центральный сбербанк. Это была культурная и чистая столовая. В ней была даже вешалка. Сходили, пообедали, как всегда. Я потом вспомнил все подробности, но ничего особенного не мог припомнить. Линдер все время был с нами. Но на другой день его вдруг арестовали. наших ребят стали вызывать в

милицию, допрашивали. Мы узнали, что Сережа обвиняется в том, что украл в столовой пальто.

В эти дни на комбинат пришла его мать, маленькая женщина с головой, укутанной рваным платком. Почему-то захотела увидеть меня. Я вышел к ней из цеха.

— Сережа работал вместе с вами?

— Да...

— Вы слышали про наше несчастье?

— Я не верю, что он виноват.

— Спасибо, — сказала она и ушла. Я, действительно, был уверен в его невиновности. Кражу совершил кто-то другой. Так оно и оказалось. Его отпустили и недели через две Сережа снова оказался на комбинате.

— Тебе в милиции вернули хлебные карточки? — спросил я его.

— Карточки-то вернули, — хмуро ответил он.

Я заметил, что ему не хочется говорить и не стал его ни о чем расспрашивать.

Как-то мы оказались в столовой за одним столом. Рядом сидели эвакуированные ленинградцы (их можно было узнать по лицам — цвет кожи у них был не такой, как у нас — какой-то безжизненный).

С нами сидел парнишка с нашего комбината со странной фамилией — Бекеша. Этот Бекеша заметил, обращаясь к Линдеру:

— Ты, как ленинградец.

— Почему это? — спросил Линдер.

— Точь в точь такой же.

Линдер невесело улыбнулся:

— Тебе бы там побывать и ты стал бы похож на ленинградца. Бекеша ничего не ответил, быстро опустошил свою тарелку и ушел. Мы с Линдером остались вдвоем.

— Слава Богу, второе несут.

Он сказал «Слава Богу», и мне представился случай узнать точно, действительно ли он верит в Бога. Я его прямо спросил:

— Значит ты в Бога все-таки веришь?

Он усмехнулся невесело:

— Я теперь ни во что не верю.

— Почему так?

— А зачем верить?

Наступило молчание — я понял, о чем он, и сказал:

— Слишком ты переживаешь. Произошла ошибка, и только.

— И только?»

До сих пор он говорил со мной как-то равнодушно, а тут даже дернулся, посмотрел на меня со злобой.

— Ты советуешь мне поскорее забыть. А я не хочу забывать. И никогда не забуду. Понимаешь?

— Понимаю.

— Ничего ты не понимаешь.

— Чего не понимаю?

— Иди ты...

Он отвернулся и больше не сказал ни слова.

Меня поразило его лицо — передо мной был совсем другой человек. От прежней его детскости не осталось и следа. Озлобленность проступала наружу против его воли.

В эти дни умер сапожник Франц. Умер нелепо: какой-то заказчик расплатился за работу не деньгами, а пивными дрожжами и уверил Франца, что они действуют на организм как пиво. Франц очень много выпил дрожжей, но веселья не наступило. Выпил он дрожжи поздно вечером, а утром Марта обнаружила, что он умер.

Ходили с тетей попрощаться с Францем. Он лежал в светлом сосновом гробу. Пахло недавно оструганными досками. Франц лежал с бескровным сердитым лицом. «Кто теперь позаботится о его семье?» — думал я.

О семье Франца «позаботилась» комендатура. С наступлением весны Марта с детьми была выселена на Север.

Семья Франца не была исключением. Начиная с весны, каждый год комендатура «очищала» город от «нежелательных» элементов. Тысячи немцев были отправлены по Оби. Что они там делали? Ловили рыбу, валили лес. Многие умирали от непосильной работы, невыносимых условий жизни.

ВСЕ ЭТИ ГОДЫ мы жили под угрозой отправки на Север и поэтому известие, что на Оби пароходное сообщение прекратилось, было для нас большой радостью. Можно было спокойно жить до следующей весны.

Но летом 1943 года настала и моя очередь покинуть Томск. Повесткой меня вызвали в облкомендатуру. Помню, шел по улице

Розы Люксембург и раздумывал с тревогой: «Зачем вызвали?» Во всяком случае, раз вызвали, значит, со мной должно случиться что-то неприятное.

Навстречу шли двое раненых из госпиталя. Шли, должно быть, на базар обменять хлеб на махорку. Были они в одном нижнем белье и никого это не удивляло. К такой одежде раненых солдат томичи уже привыкли.

Областной комендант сказал мне:

— Мы решили переселить тебя на первый участок Томторга.

Я не спросил его, кто это «мы» — спрашивать было бесполезно и опасно.

— Где это? — спросил я только.

— За рекой, — был ответ.

«Вот повезло, что не на Север», — подумал я. В коридоре было еще несколько «счастливчиков» вроде меня. Мы тут же разбились на группки и поехали на первый участок, посмотреть куда нас переселяют.

Моя группка состояла из трех человек — в ней был я, незнакомый Кремер и полужнакомый фотограф, который не так давно фотографировал меня. Я еще удивился тогда, как это немец и не на физической работе, а работает по специальности.

То, с чем мы столкнулись на Заречном участке, огорчило нас: в заброшенном овощехранилище мы увидели десятки стариков и детей. Они оставались «дома», все трудоспособные работали на полях. Кое-кому из стариков удалось раздобыть соломенные маты. Остальные лежали и сидели на голой земле.

Жить в старом овощехранилище — незавидная перспектива. Мы решили строить землянку. Пошли посмотреть землянки тех немцев, которых переселили сюда еще в прошлом году.

Жили они чисто. В землянках было даже уютно. После того, как мы побывали в нескольких землянках, решение строить свою укрепилось. Главное — начать. «Глаза боятся, а руки делают», — подбодряли мы друг друга. Не мешкая, присмотрели место для землянки.

Поговорили с людьми. Рубленых домов здесь не строили, потому, что место это заливное — каждую весну во время разлива Томи жители поселка переселяются на время в соседнюю татарскую деревню Черная Речка.

Мы договорились строить большую землянку для трех семей, но строить не пришлось. В областной комендатуре нас предупредили, что на следующий день за нами пришлют подводу, чтобы перевезти нас на Заречный участок. Мы сложили вещи, ждали целый день, но почему-то за нами никто не приехал. И хорошо, что не приехал. Мы пока что остались в городе, а за это время произошли события, которые круто изменили нашу судьбу. Дело в том, что эта же комендатура решила выселить из города мою маму. Вообще это было большой нелепостью, что в ведение комендатуры вдруг попала моя мать. Ведь из Саратова ее никто не выселял. Единственная ее «вина» заключалась в том, что она много лет назад вышла замуж за военного врача, который оказался немцем.

Впрочем, не одна она, по национальности вовсе не немка и давно уже разошедшаяся с мужем-немцем, оказалась в ведении комендатуры. Значит, это не было ошибкой, а обуславливалось соответствующими инструкциями. Видимо, кому-то было выгодно, чтобы нас, спецпереселенцев было побольше. Наверное, дело было в том, что мы были удобной рабочей силой — нас можно было куда угодно увезти, направить на любую работу — жаловаться было некому и некуда. Власть комендатуры над нами была безгранична.

Правда, была инструкция — при переселении семьи не разбивать, а вывозить всех в одно место.

Так вот, в те же дни, когда меня решили переселить на участок, маме сказали, что ее выселяют на Степановку (тоже пригородное хозяйство Томторга, но на правой стороне Томи).

Теперь я уже без вызова сам пошел в комендатуру и там меня обрадовали:

— Будете жить с матерью...

— Где?

— На Степановке.

Это было несравненно лучше, чем Заречный участок.

А попав на Степановку, я первым делом обратился к отцу Ирмы Петру Петровичу. Он был крупным специалистом-снабженцем, в Саратове много лет был коммерческим директором Главснабсбыта. Здесь, на Степановке, быстро оценили его знания и опыт и смогли договориться с комендатурой, чтобы использовать его по специаль-

ности. Так Петр Петрович стал начальником снабжения Степановского участка Томторга.

Мне пришла тогда мысль тоже стать снабженцем. Он внимательно выслушал меня, затем поморщился:

— Вы, Леня, взрослый человек, поэтому буду говорить с вами откровенно. Ну какой вы снабженец? Ни знаний этого дела, ни жизненного опыта; да и характер у вас неподходящий для этого дела...

Я подумал и согласился с ним: действительно, хороший агент снабжения из меня не получится. В лучшем случае, я мог стать тем, кого называют «куда пошлют».

— А что вы посоветуете? — спросил я.

— Что посоветую?

Петр Петрович задумался.

— Вы учитель, но теперь это отпадает. А вот сейчас на Степановке, я знаю, очень нужны плотники. У вас есть кое-какие навыки. Кроме того, плотники получают двойной обед.

Последнее обстоятельство было немаловажным. Я согласился. Сразу выделить нам комнату не могли, и мама с тетей временно оставались жить в Томске. Я же ночевал то в пустующей школе, то в квартире, которую мы ремонтировали.

Что я делал в качестве плотника? Все, что скажут. Выстругивал черенки для лопат, ошкуривал жерди для овощехранилища, навешивал двери, помогал перестилать полы, обивал двери на зиму, чинил загородки в свинарнике, делал сита на сушилке.

Что тогда представляла из себя Степановка? Это было подсобное хозяйство Томторга вблизи от города. Когда-то здесь располагалась загородная дача купца Степана Сосулина (отсюда и название поселка).

Во второй четверти прошлого века здесь жил декабрист Батеньков. По специальности инженер, он настроил тут несколько зданий: кожевенный заводик, свечной и т.п. Из построенного Батеньковым, до нашего времени ничего не сохранилось.

Вначале я думал, что красивое здание семилетней школы — это и есть бывшая дача Сосулина, построенная Батеньковым, но оказалось не так: сама дача давно сгорела, а теперь стоит здание, построенное уже не Батеньковым, хотя по его проекту.

Однажды я был в том доме — мы с товарищами вставляли зимние рамы. Когда во время урока вошли в класс, ученики встали — это

было обычное школьное приветствие, но оно тогда глубоко взволновало меня. Даже руки дрожали, когда работал.

Мы сделали, что требовалось, и ушли, а ночью я никак не мог уснуть — думал, вспоминал пинеровских ребятишек, то счастливое время, когда я был учителем.

Особенностью Степановки было то, что это был спец-поселок «спецконтингента». К спецконтингенту относились бывшие воры, убийцы, кулаки и немцы.

Сталинская формула: «Сын за отца не отвечает» существовала лишь на бумаге. Знаю множество случаев, когда жизнь сына или дочери шла под откос из-за того, что отец или мать — а чаще всего оба — были репрессированы: детей исключали из комсомола, из института, выселяли из квартиры, не принимали ни на какую работу, кроме физической.

Больше всего жило в Степановке советских немцев. Немало было и бывших кулаков. В течение семи лет, что я жил там, мне довелось близко узнать и тех, и других.

Что сказать о бывших кулаках? Это очень разные люди — и хорошие, и плохие. Были и такие, которые никогда не были кулаками и попали на спецучет по ошибке. И все знали, что это ошибка, но никто не собирался ее исправлять. Да к чему было коменданту вникать в судьбу какого-то Мартыненко или Каракулова?

Некоторые из них быстро приспособились к новым условиям и жили неплохо, другие не могли смириться с несправедливостью.

Ясно помню бывшего кулака Павла Ивановича Семенова.

Работал он молотобойцем в кузнице. Человек он был хмурый и необщительный. Со мной только здоровался, причем очень сдержанно. Несмотря на его молчаливость, мы однажды разговорились с ним. Он тяжело переживал ссылку, был на всех зол и никак не мог забыть, что когда-то имел собственный дом и хозяйство. Впоследствии злая судьба не оставила его в покое: через несколько лет он попал в тюрьму, а когда вернулся, жена его уже вышла за другого. Так остался он на старости лет «без кола, без двора». Вообще, работать плотником мне было не тяжело, но очень скучно. Физическая работа не особенно утомляла меня, я привык к ней, да к тому же был молод и после, даже короткого отдыха, физическая усталость проходила.

Осенью мы строили на полях овощехранилище. Не помню какую работу я тогда выполнял, но остался в памяти желтый березняк, который окружал стройку, и многочисленные дымы костров около нее: из города приходили помогать копать картофель так называемые «процентщики», которые за работу получали 10 процентов выкопанной картошки. Приходили целыми семьями со своими тележками и кулями. Пока мужья и дети работали, женщины разжигали костры и пекли картошку. Это не запрещалось — на месте еще сколько хочешь, только не уноси домой.

Иногда на полях встречались люди с необыкновенными судьбами. Так, здесь я встретил племянника Немировича-Данченко. Уже немолодой, он был удивительно похож на своего знаменитого дядю. Одетый более чем скромно, он тоже был одним из «процентчиков». Мы с ним часто говорили.

Здесь же я встретил изобретателя вечного двигателя немца Беккера. Оборванный, обросший седоватой щетиной, он с увлечением говорил мне о своих завистниках и многочисленных врагах.

— И давно он у вас работает?

— Кто? Двигатель?

Я был уверен, что он ответит: «Пока не работает», но он сказал бодро:

— С февраля месяца... Работает, не останавливаясь.

Тогда я понял, что передо мной не фанат...

В одной комнате с нами жил молодой столяр Ватыцин.

Вернее нас поселили к нему. Жил он с женой и с ребенком. По нашим меркам, он жил зажиточно. У них был стол, у нас и того не было: первое время мы ели, сидя на кровати и ставя миску на колени.

Днем он работал в хозяйстве, а вечером «для себя» — мастерил полочки для цветов, табуретки, чинил мебель. Работал он на полу, сидя «по-турецки». Мне было непонятно, почему он, такой дельный мастер, не удосужился соорудить себе верстак. Спросил я его об этом:

Он ответил:

— Если поставить верстак, то обязательно обложат налогом, и не отвертишься — кустарный промысел и точка. А налоги на кустарей, сам знаешь какие — не ходи я на работу, мастера дома чуть ли не круглые сутки — все равно не заработаю, чтобы выплатить этот налог.

Как-то он рассказал мне, как попал на Степановку. Сын кулака, он вместе с родителями был выслан в Колпашево. После их смерти бе-

жал в Томск. В пути ночевал под стогом, а был сильный мороз. Простудился, долго болел, но в больницу не обращался — боялся, что посадят за побег. В результате нажил тяжелую болезнь почек. Но от комендатуры все же не ушел — она водворила его на Степановку.

Утром я уходил на работу в хозяйство, а вечера у меня были свободны. Вместе с одним стройбатовцем стал мастерить санки для продажи. Ходили в лес, выбирали подходящие для полозьев березки. Распаривали их на углях в печке и гнули полозья. Потом мастерили сами санки. Это был, хоть небольшой, но приработок. Мы мечтали вырезать деревянные ложки — на них был большой спрос, но не смогли достать нужного резца.

Каждый день я плотничал с бывшими «кулаками».

Из них выделялся Михаил Чернов. К нему относились как к человеку особенному. Вероятно, не попади он в ведение комендатуры, из него получился бы выдающийся изобретатель. Почему он попал на учет комендатуры?

Его отец имел небольшую сельскую водяную мельницу. После смерти отца она перешла по наследству Михаилу. А тут началось раскулачивание...

Степановское начальство относилось к нему не так, как к другим ссыльным: обращались на «вы», поручали работу, требующую смекалки и знаний. Так, под его руководством, был построен подвесной мост через Ушайку. Мост на стальных канатах — тут было над чем подумать.

Между прочим, однажды меня и еще одного плотника направили обить двери квартиры отца Ирмы. Его семья (жена, сын, дочь, теща) жили в большой комнате на втором этаже дома, сохранившегося еще с дореволюционных времен. Спросил Петра Петровича, что пишет Ирма, скоро ли вернется. Он не сообщил мне ничего радостного: по прежнему работает на военном заводе, а о том, когда вернется, ничего не пишет. Должно быть, нужно ждать окончания войны.

Всей семьей мы ежемесячно ходили отмечаться в комендатуру. У нас был определенный день явки к коменданту. Он в толстой бухгалтерской книге ставил галочки против наших фамилий, мы расписывались. Расписывался, значит, не убежал. Нужно сказать, что за семь лет моего пребывания на Степановке не случилось ни одного

побега. Коменданту, который наблюдал за нами, в сущности, нечего было делать.

Сперва комендантом был Меховцов, потом Раскурин. Меховцов по натуре был человек не злой, мог даже пошутить.

По другому держался Раскурин. Он был всегда сумрачно серьезен, и никогда не только не смеялся, но даже не улыбался. Смотрел на людей настороженно, недоверчиво; разговаривая, он словно примеривался, куда бы удобней нанести тебе удар.

Раскурина больше помню со спины — идя домой мимо наших окон, он ступал неторопливо, аккуратно обходя лужи на дорогах, с прочным сознанием собственной значимости.

Смотря ему вслед, я каждый раз думал, как странно поворачивается жизнь: от этого ничтожного человека зависит жизнь сотен людей. Мне известно было, что он приходил к маме на здравпункт (в конце концов она стала работать по специальности) просил дать ему побольше сульфидина. Это говорило о том, что он, по всей вероятности, болел гонореей и лечился сам, боясь огласки.

Кончил он свою карьеру плохо. Меня уже не было на Степановке, когда он предстал перед судом — его судили за изнасилование. Суд приговорил его к большому сроку заключения.

Семью его я хорошо знал: бледная, молчаливая жена и сын Петя. Рос мальчишка без должного догляда, заброшенный, неряшливо и бедно одетый.

Я уже упоминал, что работал с бывшими кулаками. Я называл их по имени отчеству, а они меня Алешей. (Чаще всего я работал с Мартыненко — приветливым, немного насмешливым мужчиной).

Работали они добросовестно, почти не отдыхая, не перекуривая (в руках — топор, в зубах — сигарка). Видно было, что работа для них — святое дело, которое они не могли делать кое-как.

О своей прошлой жизни они рассказывали очень неохотно, только скупо отвечали на вопросы. Почти ничего не говорили о пережитых ими мытарствах и никогда ни на что не жаловались. Все-го прежнего как будто вообще не существовало. Один только раз в разговоре с Мартыненко я заметил у него обиду. Я спросил его почему он, заправский плотник, не построит себе хороший дом, а ютится в казенной, какой-то косой комнатенке. В ответ он усмехнулся горько и ответил вопросом на вопрос:

— А зачем для дяди строить?

И пояснил:

«Много я на своем веку себе домов срубил. Штук семь не меньше. И все без толку... А теперь сказал себе — хватит».

— Почему?

— Только новый дом поставлю, переселяют на новое место. Дом бросать приходится. Его с собой не возьмешь. И продать некому — деревня...

Особенно интересовала меня жизнь плотника Подрубного. Он был цусимец. К сожалению, о русско-японской войне он рассказывал мало.

Мне написать тогда хоть то, что я от него узнал, но я в ту пору надеялся на свою память. Остались в памяти только два факта:

1) До того, как моряков подобрали японцы, они несколько часов находились в воде, цепляясь за плавающие обломки кораблей.

2) И еще: собрав русских пленных, японцы подвели их колонну к длинному сараю. Приказали остановиться. Каждому дали веревку с петлей. Велели войти в сарай и раздеться. В сарае вместо потолка — множество балок. Пленные мысленно попрощались с жизнью, многие стали молиться — решили, что их сейчас будут вешать. Но японцы вешать их не собирались и с удивлением смотрели на их «переживания». Веревки с петлей дали, оказывается, для того, чтобы они увязали свою одежду и повесили на балку. Их одели в казенную новую одежду, а собственная одежда ждала их до дня освобождения.

Только один из бывших кулаков работал плохо. Даже очень плохо. Товарищи прозвали его «мухлевщик». Он всячески отлынивал от работы. Когда другие работали, не покладая рук, он уходил косить траву для своей коровы или забирался в темный угол старого хранилища, чтобы там поспать. Он берег силы для работы в своем хозяйстве. А товарищи его добросовестно плотничали днем, а домашние дела делали вечером, уставшие после трудового дня.

Запомнился такой случай. Утром я направился на работу. Как всегда, зашел за Мартыненко, своим обычным напарником. Застал его возле дома с лопатой в руках. Увидев меня, он сказал:

— Сегодня иди один. Я отпросился. И Шурик (сын его) в школу не пойдет. Мне будет пособлять... Погреб крайне надо изла-

дить, скоро копать картошку, а вечерами — не успеем, устаю я шибко на работе.

Вечером, идя домой, я решил зайти и помочь им. К моему удивлению, погреб был готов, а сам Мартыненко приколачивал к крышке накладку. За осенний световой день он с сыном, учеником шестого класса, выкопал погреб и полностью его оборудовал.

В середине сентября приехала к родителям Ирма. За хорошую работу она была расконвоирована и получила разрешение съездить к родителям домой.

Пошли вдвоем в лог, который находился рядом со Степановкой. По дну его бежит небольшой, но очень холодный ручей, прозрачный. Вода в нем пахнет листьями смородины.

Мы говорили о войне, мечтали о будущем после нашей победы.

На отлогих скатах лога — убранные огороды. На межах лебеда и кустики поздники. Ягоды ее уже поспели. Мы собирали и тут же съедали. Мне нравился красивый осенний лог, нежаркое солнце, но больше всего нравилась сама Ирма...

Над логом — чудесная березовая роша, в ней тишина, красота. Но то, что рассказывала девушка, заставило меня забыть о тишине и красоте. Много узнал я в тот осенний день. Те страдания, которые я испытывал, были пустячком по сравнению с тем, что пришлось пережить ей.

Работала она на комбинате N 179 (Кривошеково, против Новосибирска, на левом берегу Оби). Жила в общежитии для немок. Это были огромные бараки, каждый на несколько сот человек. Спали на двухъярусных нарах, расстояние между которыми было таким узким, что пройти можно было только боком.

Очень часто ее товарки сходили с ума.

Это случалось почти всегда ночью, когда все спали после тяжелого рабочего дня, в бараке раздавались безумные крики, рыдания, иногда вперемежку с хохотом.

Сходили с ума в основном молодые женщины. У многих из них дома оставались маленькие дети.

Так как мужей их еще раньше забрали в трудармию, то приходилось в лучшем случае оставлять детей на родственников, а если таковых не было, то на соседей. А у тех свою семью накормить нечем. Дети умирали и матери, получив известие об этом, сходили с ума.

На работу немोक водили под конвоем, с собаками. Однажды, когда колонна возвращалась с работы в зону, (а путь был неблизкий — более трех километров) произошел такой случай: упала обессиленная пожилая женщина. Упала и не могла подняться. Вся колонна остановилась. Конвойные не знали, как поступить. К лежащей на снегу женщине подбежал начальник и стал пинать ее ногами.

— Вставай, падла!

Ирма пыталась пристыдить его:

— Товарищ, как вам не стыдно, ведь она вам в матери годится!

Начальник конвоя побледнел от злости:

— Ты меня товарищем не называй. В брянских лесах волк тебе товарищ!

Общежитие, или, как его называли зоной, или расположением, было построено далеко от комбината, километрах в трех-четырех! Почему не рядом? Ведь это сберегало бы силы работников? Но об этом никто не думал. Девушки и женщины после двенадцатичасового рабочего дня брели под охраной до расположения, а здесь вместо отдыха — огромные очереди к единственной плите.

Несколько часов уходило на то, чтобы дожидаться своей очереди и хоть что-то себе сварить.

А варить приходилось каждый день, чтобы хоть раз в сутки покушать что-то, похожее на человеческую еду. В столовой комбината обеды были почти несъедобные: на первое — всегда суп с лебедой, (местные жители были снабжены особым налогом — каждая семья должна была сдать в столовую комбината определенное количество квашеной лебеды), на второе — гнилая рыбешка, очень мелкая, превратившаяся в кашу (ее накладывали в тарелку не вилкой, а черпаком).

Ясно, что на таком питании не только работать было невозможно, но и просто выжить. Поэтому, придя с работы в расположение, почти все, прежде чем лечь спать, что-то варили, чаще всего картошку. Обычно, несколько подружек объединялись и варили в одном котелке. Причем устанавливали дежурство — одна варила, а остальные ложились спать.

Внутри зоны образовался базарчик. Местных женщин (русских), охрана пропускала через проходную, и они продавали морковку, брюкву, картошку. Особым спросом пользовалась уже сваренная

картошка (в «мундире»). Удивительная это была картошка — мелкая-мелкая, как горох. И где только такую брали! Конечно, не специально выращивали этот «горох». Просто то, что раньше шло свиньям, теперь несли продавать в зону: немки все съедят. И, правда, ели, причем обычно на ходу — пока шли до своего барака, съедали эту мисочку картошки. Не было сил терпеть невыносимое чувство голода.

Иногда удавалось что-то купить за деньги, но продавцы охотнее брали носильные вещи — кофточки, рубашки, юбки. Ирма выменяла за новую блузку пару мисок картошки.

Однажды подружка посоветовала дать официантке в итээрвском зале платье (там кормили получше, чем в общем зале). А как дать? Вдруг официантка обидится? Но опасения оказались напрасными; взяла с радостью. Но платье (шелковое, очень красивой расцветки), Ирма отдала зря — два раза она покормила Ирму, а потом сделала вид, что не узнает ее и даже сделала замечание, что рабочим в зал ИТР заходить нельзя.

\* \* \*

Настало время расставаться. Мать собрала мешок и рюкзак. А что было дать? У самих ничего не было. Но Эльфрида Ивановна посушила в печке картофель, морковь, сахарную свеклу, небольшой кусок хлеба. Все это сложила в мешок, а в рюкзак — несколько сырых брюкв, увесистых, как снаряды. В тот же рюкзак я сунул свой подарок: книгу с многозначительной подписью: «Дорогой Ирме на память о тех днях, когда мы жили только будущим».

Это была одна из моих самых любимых книг — роман Г.Гарди «Джуд Незаметный».

Наступил вечер. Моросил осенний дождь. Шли тропинкой вдоль дороги со Степановки к вокзалу.

Пришли на станцию. Поезд стоял у перрона. Ирма, как человек бывалый, проверила двери вагонов. Нельзя ли отсюда проникнуть внутрь. Но все двери оказались предусмотрительно закрытыми. О билетах не было и речи — никто бы их Ирме не продал, т.е. продавали и только военным и по командировочным удостоверениям. Каждый раз Ирма ездила на «штраф».

На ярко освещенном перроне — тишина и безлюдье, мы немного опоздали. Все уже успели войти в вагоны. Лишь у одного из вагонов

продолжалась посадка, причем необычная: шум, крики, матерки, лязг лопат — садилась какая-то ремонтная бригада. То ли их не хотел пускать проводник, то ли произошло еще какое-то недоразумение. В общем бушевал скандал.

Ирма решительно потянула меня за рукав:

— Пойдем туда!

— Туда? — изумился я. Мне хотелось от этого места уйти по-дальше.

Ирма пояснила мне:

— Здесь никто не будет спрашивать билеты.

Она кратко проинструктировала меня:

— Я пройду без вещей. Ты потом кинешь их мне.

Такую тактику я вполне одобрил.

Ирма проскользнула в вагон мимо взволнованной проводницы. Вслед за Ирмой я кинул рюкзак с сырыми брюквами. К несчастью, он попал в голову проводнице. Та возмутилась:

— Это чьи вещи?

Ирма не призналась. Рюкзак лежал на полу. Проводница наклонилась к нему. В это время я бросил мешок с картошкой, и, как в кинокомедии, попал им в голову проводницы, сбил с нею форменную фуражку. Она совсем рассвирепела:

— Какой это дурак там вещи кидает?

Но я, как ни в чем не бывало, стоял на перроне — главное дело сделано: рюкзак и мешок в вагоне. Раздался гудок, поезд тронулся и ушел.

Иду домой. Вспоминаю лог, солнце, осенние березы. Какая славная девушка!

## 5

В КОНЦЕ 1943 ГОДА случилось очень хорошее для меня событие. Правда, для того, чтобы оно произошло, я абсолютно ничего не предпринимал.

Шел мимо школы, ничего не подозревая, одетый по рабочему, стопором за поясом. И вдруг слышу:

— Молодой человек!

Оглядываюсь — на крыльце школы женщина средних лет (позже я узнал, что это была директор Степановской школы Надежда Гавриловна Болтовская).

— Можно вас на минутку?

— Пожалуйста.

На улице она говорить не стала. Иду за ней в маленький кабинет с решеткой на окне. «Прежде здесь, должно быть, была кладовая», догадываюсь я.

— Я слышала, вы бывший учитель?

— Да, бывший, — подтверждаю я.

— Закончили университет?

— Да.

— По специальности...

— История.

— История, — повторила она разочарованно. — А я думала, вы сможете преподавать немецкий язык.

— Я в университете изучал французский.

Конечно, мне очень хотелось стать учителем, но не мог же я быть самозванцем. Лучше сразу отказать. Женщина явно опечалилась. Я понимаю, что пора уходить, но почему-то медлю, может быть потому, что мне просто приятно находиться в школе. И вдруг она говорит без особой надежды на положительный ответ:

— А алгебру и геометрию не могли бы преподавать?

— Смог бы...

— А физику и химию?

— Очень даже...

— А черчение?

— Подучу.

Какое огромное спасибо сказал я мысленно своим школьным учителям, которые хорошо учили меня этим предметам!

В глазах женщины радость, почти ликование. Позже я понял, почему она так обрадовалась. Заканчивалась вторая четверть, а в школе с начала учебного года не преподавались математика, физика, химия и черчение. Не было учителей. В РОНО уже высказывалась мысль, что Степановскую семилетку надо закрывать, оставить только начальные классы, а ученики старших классов пусть ходят в городскую школу.

— Значит будете работать у нас?

— Я хотел бы..., но...

Она сразу поняла, что значит «но» и торопливо заверила меня:

— Это, я уверена, мы уладим. Не беспокойтесь...

Затем деликатно осведомилась:

— А как у вас с питанием?

— Берем в столовой обед...

Она продолжила:

— А картофель есть у вас? Школа могла бы вам выделить из своего фонда.

— Картошки у нас нет. Покупаем, но цены, сами знаете...

Я считал, что речь идет о двух-трех ведрах картошки (которым мы были бы безмерно рады), но Болтовская ошеломила меня:

— На первых порах мы могли бы дать вам тонны полторы, две... Это вас устроит? А если не хватит, можно будет еще...

От волнения я не могу членораздельно говорить, киваю утвердительно, мычу:

— Вполне.

Сразу мелькает мысль, что напрасно мы на днях снесли на барахолку отцовские карманные часы и мамин перламутровый театральный бинокль и мою коричневую кожанку. Если бы я знал...

— А когда можно получить?

— Хоть сегодня, если у вас найдется время можно получить в новом хранилище. Знаете, где оно?

— Я его строил.

— Вот и чудесно. Только транспорта у нас своего нет.

Транспорт в то время означал бычков, можно было договориться с возчиком, который на них работал.

— А когда можно приступить к работе?

— Я думаю, с первого января.

В тот же день я привез картошку домой. Пока не привез, сам не верил в такую свою удачу.

Я снова учитель. Как приятно было поделиться своей радостью с мамой и тетей. Они, конечно, тоже очень обрадовались, но мама озабоченно спросила:

— Справишься с этими предметами? Ведь очень нелегко будет без специального образования.

— Надо справиться.

Как я сейчас был рад, что в школьные годы всерьез увлекался математикой, физикой, химией. Особенно химией. У меня дома даже была небольшая химическая лаборатория. Много и увлеченно занимался математикой. В старших классах пробовал изучать и высшую математику. Одно время даже серьезно подумывал о физике. Конечно, кое-что я забыл, но энергии у меня было хоть отбавляй. На этот раз Зайцева меня «вспомнила». Она сказала Болтовской, когда та пришла к ней:

— Хотите взять Гартунга? Конечно, нежелательно, чтобы учитель был подкомендатурный человек. Но что делать, не закрывать же школу! А Гартунга хорошо знаю, я вместе с ним работала в педучилище.

Об этом разговоре мне впоследствии рассказала Надежда Гавриловна.

Как же пошли мои школьные дела? Было очень нелегко. Одно дело — решать самому, другое дело — учить этому детей. Оказывается, я не умел объяснить самых элементарных вещей. Иногда я просто не замечал их. На первых порах мне очень помогла Эльфрида Ивановна, мать Ирмы. Она когда-то училась на физмате СГУ, имела хорошие математические способности.

Целыми вечерами я занимался с учениками — ведь надо было ликвидировать их отставание — весной предстояли экзамены, а целые полгода эти предметы не велись. С детьми у меня установились хорошие отношения. Они видели, что я искренне стараюсь дать им знания и сами старались. Никогда никто не опаздывал на эти дополнительные вечерние занятия. А дома я до поздней ночи решал десятками сложные задачи, чтобы «набить руку». В свободные от уроков дни я шел за несколько километров в какую-нибудь городскую школу, посещал уроки знающих, опытных учителей, учился у них «тайнам» методики преподавания.

И мои старания, и старания моих учеников дали плоды — весной они все сдали экзамены и сдали — неплохо.

## 6

КО МНЕ ЛИЧНО комендант не придирался. Все-таки я был учителем, учил его детей. Но я все время помнил, что комендант может сделать со мной все, что ему угодно. Я знал, что в случае какого-ни-

будь конфликта с ним, жаловаться на него бесполезно. Никто бы меня и слушать не стал. Жили мы сегодняшним днем — глупо было в нашем положении строить планы на завтра.

Помню, однажды на улице, меня встретил комендант Меховцев, почему-то обрадовался:

— Вот удачно встретил. Ты зайди сегодня вечером ко мне в комендатуру.

— Что значит вечером?

— Часиков в десять.

«Часиков в десять» — это было странно. Время нерабочее. Но спрашивать не полагалось.

В десять часов явился в комендатуру. Меховцев был не один, а со своим помощником. Дело оказалось нехитрое

— всю ночь я переписывал списки спецпереселенцев. Непонятно, правда, почему это надо было делать ночью и почему для этого понадобился я? Я писал, а они сидели несколько поодаль, курили, рассказывали, от нечего делать, анекдоты и гоготали.

Когда анекдоты кончились, стали рассказывать случаи из жизни. Больше всего говорил сам Меховцев. А его помощник слушал и посмеивался. И Меховцев рассказывал, все время смеясь. Можно было подумать, что жизнь коменданта — ужасно забавная штука.

Запомнился один случай, который он рассказал. Напишу его от первого лица, как слышал:

«Работал я в селе К. — это на севере. Дело было в апреле. Занят всякими делами, и вдруг узнаю — в лесу живут «божьи люди» — старик и старуха. Снега оставалось совсем немного. Отправился их искать. Верхом. Однако, день проплутал, ни шиша не нашел. Спрашиваю своих людей, может, это выдумка про старика со старухой? Клянутся, божатся — живут в лесу эти «божьи люди». За солью в село приходили. Видели их...

А тайга большая, где мне их искать!? А искать край надо: начальство узнает — мне не поздоровится. Надо их найти и водворить на постоянное место жительства. Я к парнишке, лет четырнадцати — поповскому сынку. Спрашиваю его, знает ли он, где живут старики. Оказывается, знает. Может ли проводить меня до места. Ясное дело — может.

На другой день поехали. Васек на одной лошади, я на другой. Ехали, ехали, заехали, черт-те знает куда. Однако далеко забрались старики. Думали, должно быть, что мы их не разыщем. Надеялись, но напрасно.

Избушка у них стояла на краю поляны, крыта берестой (на это немалая смекалка нужна). Рядом с домом огород жердями огорожен.

Вхожу в избу. Старики, ясное дело, дома. Уставились на меня, словно я леший или того хуже. Объясняю им: так, мол, и так, отныне будете жить в деревне.

Старик говорит мне:

— Нам и здесь хорошо.

— А сейчас, — говорю, — увидите, как хорошо.

Выхожу наружу, на коня, недолго думая, спичку к крыше — запылала. Да еще как! Сухая береста — оно понятно... Жду, посмеиваюсь — сейчас появятся. И до чего терпеливы, сволочи, — дым из окон повалил, только тогда выползли. Старик без всего, только полушубок и шапку надел, а она узел тащит с собой, волокет и плачет.

Подались назад, к деревне — мы на конях, они пешком. Едем не шибко. Кое-где показываю, чтобы дорогу правильно держали. Вот так и двигаемся. Только в пути некоторая заминка вышла. Смешного свойства... Ха-ха- ха... К ручью подъехали. Когда туда ехали, на ручей этот и внимания не обратили, а обратно — в нем воды прибавилось. Перед нами уже не ручей, а натуральная речка. Мы на конях, нам-то что... Старик вброд, он высокий, знай себе шагает. А старуха махонькая ростиком, да еще с узлом. Стала захлебываться, испугалась, визжит: «Помогите!» Ну, комедь, как в кине. Узел свой упустила. Только мы его и видели... Старик вернулся, подхватил старуху на руки, не дал совсем погрузиться, вынес на берег. Дальше, налегке, они пошли быстрее.

Пришли в село. Я их в баньке у одних спецов определил. Протягиваю Ваське рубль за труды. Он мне шибко помог. Без него я, может быть, еще не один день по тайге плутал. Протягиваю, значит, рупь. А он, как звереныш, глянул на меня, побледнел:

— Не надо мне ваших денег.

На том и расстались.»

Вот какую историю слышал я ночью в комендатуре...

Всю ночь я писал списки, а утром пошел в школу, проводить уроки. Но не надо думать, что в нашей жизни были одни только невзгоды. Молодость брала свое: у двухэтажного дома, под соснами, почти каждый вечер собиралась молодежь. Подросток Цыглер выносил цымбалы, старые-престарые, уже потемневшие от времени, на которых, должно быть, играл еще его дед. Он играл, а парни и девушки танцевали. Здесь не различали национальностей, веселились все вместе: русские, украинцы, немцы, эстонцы, калмыки, литовцы.

## 7

Я ПРЕПОДАВАЛ МАТЕМАТИКУ, физику, химию, но все же меня тянуло к истории. Часто дверь в шестой класс была открыта, и в учительской слышно было, как учительница младших классов (по совместительству она преподавала историю) лихо произносит: «епископ», «междоусобные войны» и т.д.

Между делом я собирал сведения о старой Степановке, читал письма Батенькова, статьи о нем. Даже написал нечто вроде исторического обзора о Степановке, не надеясь, конечно, на его опубликование. Писал, как говорится, для души.

Директор школы Болтовская вручила мне две тетрадки поурочных планов своего мужа (до войны он преподавал математику в одной из московских школ, а теперь был на фронте). Эти две общие тетради негодились мне. Взял я их только из вежливости. Не может быть двух одинаковых классов, а, следовательно, и не могут быть одинаковыми уроки в них. Это я уже тогда понял, и хорошо, что понял...

На первый урок в Степановской школе я явился в галошах, надетых на шерстяные носки. Ботинок у меня тогда не было, а сапоги были в таком состоянии, что показываться перед детьми в них было невозможно. Стеганку, в которой я плотничал, я оставил в учительской и «щеголял» в классе в застиранном хлопчатобумажном свитере, растянутый воротник которого был застегнут английской булавкой.

Но никто из ребят не выразил ни малейшего удивления таким странным видом учителя. Сами они тоже были очень плохо одеты, ходили в обносках матерей и отцов. Иногда не было и этих обно-

сков. Помню одну ученицу, которая сидела в классе в осеннем пальто. Она не могла снять его, так как под ним не было платья — она ходила в нижней рубашке в школу. Об этом меня предупредила Болтовская, чтобы я не требовал с девочки снять, как положено в классе, верхнюю одежду.

Много трудностей испытал я в начале своей работы в Степановской школе. Но именно здесь я стал учителем. Нельзя, конечно, сказать, что здесь я познал все, что должен знать и уметь учитель (далеко не все я знал и умел, когда уходил на пенсию, после 32-х лет работы в школе).

Но, увольняясь из Степановской школы, я знал, что нашел свое место в жизни. Случалось, я совершал ошибки. Но всегда анализировал их и понимал, как надо было поступить правильно.

Именно в Степановке я по-настоящему полюбил школу, свою профессию. Мне приятно было встречаться с учениками. Бывало, я оставался перед дверью класса, чтобы убрать с лица неуместную радостную улыбку. Прекрасное это ощущение, что вот сейчас я войду в класс, буду объяснять детям что-то новое, а когда стану уходить, они будут уже где-то на «другой полочке», выше, чем были до этого.

В то время первые уроки начинались с проверки учащихся на вшивость. Войдя в класс, я заставал такую картину: дети ожидали меня уже стоя. Мальчишки, голые до пояса, хлестали своими рубашками девочек (те не раздевались, а только расстегивали свои воротнички). Девочки визжали, грозили «все сказать» учителю, но, в общем, то была игра приятная обеим сторонам.

В обязанности учителя входило внимательно осмотреть всех учащихся. Если у кого-нибудь обнаруживались вши или гниды, то его удаляли с урока и докладывали об этом директору. Директор школы сообщал о ЧП на медпункт, а медики отправляли всю семью в баню, а одежду на прожарку.

Много было трудностей в школьной жизни: в классах не всегда было тепло, зачастую нечем и не на чем было писать, не хватало мела и каждый кусочек берегли как зеницу ока. Такова была жизнь. Но все эти трудности мы считали временными. Все радостнее были сводки военных действий, мы сознавали, что война идет к победному концу.

... Мы все, спецпереселенцы, переживали случай, который произошел с одним из нас — электриком Толчановым. Был он постар-

ше меня, высокий, болезненный, всегда в одном и том же застиранном хлопчатобумажном костюме. Я его мало знал, говорил с ним всего один раз, но история его была мне хорошо известна. Его мать, деревенская женщина, гнала самогон. Ее судили, дали «срок», а по его отбытии она попала в ведение комендатуры. Заодно с ней туда же попал ее малолетний сын. Она давно умерла, а он так и остался «спецом».

Однажды он чем-то провинился. Последовало наказание: Махурин вручил ему записку и велел отнести в город, в областную комендатуру. В записке говорилось, что податель сего должен отбыть определенный срок в тамошнем карцере (своего карцера на Степановке не было). Толчанов отсидел в карцере двое суток.

После карцера он прожил недолго. Он давно страдал язвой желудка, а тут от переживаний наступило ухудшение и случилось прободение. Может быть, повлияло и то, что он с больным желудком два дня просидел в карцере на хлебе и воде.

Запомнился другой «спец» — Поров. Прежде он был профессиональным вором-домушником. Играя однажды в карты, он проиграл своим товарищам, тоже ворам, правую руку. Те отрубили ее топором. После этого он попал в ведение комендатуры. Работать физически не мог, умственно — тоже. Сидя в конторе, подшивал какие-то бумаги, иногда оказывал мелкие услуги коменданту. Дальнейшая его судьба тоже не задалась — возвращаясь из Томска на Степановку, он попал у вокзала под поезд и при этом ему отрезало ногу. Последний раз я видел его у ворот университета — перед ним лежала фуражка, и проходящие студенты кидали в нее монеты.

Против нас жил отец моих учеников Павел Иванович Шаркунов. Работал на Степановке, в кузнице. Тоже пропал человек ни за что. Но о нем расскажу несколько позже...

Запомнилась также девушка Рая, что жила у нас за стеной. Засыпая, я почти каждый раз слышал, как она пела. А пела она замечательно — протяжные и печальные песни. Пела, как соловей, а между тем, за ней числилось тяжелое преступление.

Несколько лет назад, когда она была еще девочкой, ее мать задушила пасынка. Рая помогала матери, держала мальчика за ноги. Вместе с матерью они унесли его в лес и там закопали. На другой день

они сказали соседям, что мальчик пошел по грибы и «потерялся» в тайге. Им поверили, но случилось так, что преступление открылось (бродячие собаки раскопали труп). Мать расстреляли, а Рая стала «спецом».

Другим моим соседом был кузнец Каракулов. Он никогда не был кулаком. Просто он был трезвым, передовым крестьянином, выписывал сельскохозяйственные журналы, сортовые семена, арендовал у государства машины. Все в его хозяйстве шло по науке, и он стал жить зажиточно. Но в один прекрасный день его раскулачили — отняли все, что он нажил своим трудом и отправили с семьей в Сибирь. Вначале он пытался что-то доказать, разъяснить, но потом махнул на это рукой, освоил кузнечное дело и стал ценным специалистом.

Однажды с ним произошел нелепый случай. Он что-то прихворнул. Мама дала ему какие-то таблетки. А ночью к нам в дверь постучала его испуганная жена:

— Сам кончается!

Мама побежала к ним. Оказывается, он принял все таблетки сразу, весь стандарт. В оправдание говорил:

— Я такой большой, а они такие маленькие... Считал, больше приму, скорее поправлюсь. Мама оказала ему помощь, а когда ему стало лучше, все же отчитала:

— Что значит — считал? Никто вас не просил «считать». Сказано по одной таблетке после еды — стало быть так и надо.

## 8

РАДОСТНО БЫЛО РАБОТАТЬ в школе. Но в жизни было и много тяжелого, не говоря уже о войне.

Однажды ранней весной я проводил консультацию по алгебре. Пришли в школу два хмурых человека и прямо из класса увели в город двух учеников моего класса (седьмого) Толю К. и Юру С. Оказывается, они стреляли из рогатки и попали в памятник Сталину, что стоял против конторы. Тогда я не понимал, что происходит, а теперь знаю — система была такова, что нужно было кого-то карать, пусть даже невиновных, даже детей, чтобы держать в страхе и повиновении все общество.

Теперь о Павле Ивановиче Шаркунове. Работал он в кузнице молотобойцем. Помню, как его арестовали. Приехал из города деловитый мужчина, вместе с нашим комендантом они произвели обыск на квартире Павла Ивановича. Ничего не найдя, увели его в комендатуру, там приказали ему запрячь комендантского коня и увезти их в город. Я вышел из дома как раз в тот момент, когда они проезжали мимо. А Павел Иванович, какой-то пришибленный, с подвязанным подбородком — ушами — зимней шапки, в стеганке, сидел на козлах за кучера. Комендант и приезжий из города находились позади него, развалясь в кошевке, укутавшись в дохи, с папиросами в зубах.

Арестованный вез тех, кто его арестовал. Вероятно, он понимал странность этого и, должно быть, надеялся, что раз с ним поступают так нестрого, может быть, все еще обойдется. Разве мог он предположить, что начальству просто захотелось позабавиться.

...Наконец наступила великая радость — День Победы. Радовались все — ученики, учителя, бывшие «кулаки» и вольнонаемные рабочие, «спецы» — немцы, калмыки, литовцы. Это была действительно всенародная радость. С утра накрапывал теплый майский дождик. Потом небо заголубело, и мы с нашими ребятами пошли в город на митинг. Транспарантов и лозунгов мы не успели подготовить, над нашими рядами вились только красные знамена, но и это выглядело очень торжественно. Ребятишки радовались, что теперь вернутся домой их отцы и старшие братья. Горестно провожали нашу демонстрацию те, кому уже ждать было некого.

## 9

ВЕСНОЙ 1943 ГОДА Ирма тяжело заболела. Диагноз — язва желудка с кровотечением. На работу она ходить не могла, поэтому ее оставляли в бараке дежурной — топить печи, чтобы пока придет колонна, было тепло и можно было сразу начинать варить. Сама она ничего есть не могла, кроме простокваши, которую выменивала на хлеб на внутризонном базарчике.

Когда же ей стало совсем плохо, то зональный врач Эльза Ивановна направила ее на консультацию к хирургу. Вообще-то это было нарушением: от всех болезней, живущих в зоне, лечила сама Эльза

Ивановна. У немок не было даже карточек в местной поликлинике. Но хирург был когда-то однокурсником Эльзы Ивановны и по ее просьбе согласился проконсультировать Ирму. После рентгена желудка, он сказал, что нужно делать операцию. Ирма сразу согласилась, потому, что не могла больше терпеть невыносимых болей.

Но хирург печально сказал:

— Согласны-то вы согласны, но организм у вас сильно истощен. Как врач, я обязан предупредить, что за результат операции не ручаюсь. Вы можете ее не перенести... Да и послеоперационный период требует диеты, ухода. Раз вы живете в зоне, для вас это невыполнимо... Короче, я не берусь.

Таким образом, он отказался оперировать. Что делать? И оперировать нельзя, и жить так дальше невозможно. На работу она уже давно не могла ходить — просто не дошла бы. А теперь и в бараке ничего не могла делать. Целыми днями лежала на нарах. Она была настолько безнадежна, что комбинат согласился ее уволить — все равно толку от такой работницы не стало. Приехала Эльфрида Ивановна и увезла ее домой, жили они теперь не на Степановке, а в самом Томске. Дома девушке постепенно стало лучше.

Больших трудов стоило ей опять стать студенткой. В университете ей сказали:

— Вы еще в 1942 году были.

Но это было неправдой. Когда в 1942 году военкомат мобилизовал ее в трудармию, она оформила это как академический отпуск. У нее была на руках выписка из приказа об этом. Но ни ректор, ни в учебной части с ней даже не пожелали разговаривать. Ирма послала копию этой выписки и своей зачетной книжкой, где были одни пятерки, председателю президиума ВС СССР с просьбой о содействии в восстановлении ее в числе студентов ТГУ.

Возможно, сам он письма Ирмы и не читал, но из его канцелярии за подписью его заведующего Фигуровского пришло указание ректору университета Горлачеву: «Восстановить в числе студентов» (копию его она получила по своему домашнему адресу).

Когда же Ирма пришла на прием к Горлачеву, он бросил копию на стол со словами:

— Мне хоть сто таких бумажек приносите... Пока я ректор университета, учиться вы в нем не будете.

Но в университете нашлись добрые люди, которые помнили ее как отличницу и активную общественку. В конце октября 1945 г. Горлачев уехал в длительную научную командировку, Ирму пригласили в ректорат и объявили, что она восстанавливается в числе студентов, но предусмотрительно посоветовали: «Зачем вам истфак? Все равно вам не дадут работать историком, как не дадут этой возможности вашему мужу. Поступайте на другой факультет».

Как ни жалко было расставаться со своей мечтой стать историком (ведь училась уже на третьем курсе), пришлось поступить на первый курс, но теперь уже биофака.

... И вот наступило 11 февраля 1948 года (на всю жизнь запомнилась эта дата).

До тех пор, пока шла война, мы думали, что возможно, в нашем выселении и была какая-то военная необходимость? Мы были уверены, что кончится война, и мы поедем домой, в Саратов.

Но вот война кончилась, прошел 46-ой, 47-ой гг. Мы все надеялись.

Начался 1948 год. А освобождения не было. «У Сталина другие заботы, сейчас не до нас», успокаивали мы друг друга. Но случилось, то, чего никто не ожидал, и что в страшном сне не могло нам присниться.

Было не очень морозно. Вечером всех, живших на Степановке, вызвали в клуб. У каждого мелькнула мысль, наверное, собирают, чтобы объявить о нашем освобождении, снятии со спецучета. Наконец-то мы поедем домой.

За длинным столом сидели трое в шинелях, с погонами — наш комендант и какие-то два незнакомых энкеведиста из города. «Подходите по одному, не толпитесь, как бараны».

И подходили по-одному. Каждому вручали две бумажки. Одна сообщала, что мы высланы сюда навечно:

а) самовольная отлучка с места проживания более пяти дней квалифицируется как побег.

б) побег карается 20-ю годами каторжных работ.

На другой бумажке надо было расписаться, что обо всем этом мы поставлены в известность.

Расходились из клуба молча, подавленные новым, свалившимся на нас горем.

Ни на первой, ни на второй бумажке имени Сталина не было, как не было и его подписи на Указе о выселении немцев Поволжья в 1941 году.

Только теперь я понял, что выселение немцев в 1941 году, ликвидация Республики Немцев Поволжья не были продиктованы необходимостью. О какой военной необходимости могла идти речь в феврале 1948 года? Во-первых, удобно было иметь огромный контингент рабочих, умелых, честных, добросовестных и одновременно совершенно бесправных, которых можно было в любой момент перевезти куда угодно по указке свыше. Во-вторых, нужно было показать другим национальностям их привилегированное положение.

Нужно было иметь гонимых.

Через несколько лет я был свидетелем такого случая: учительница (немка) попросила разрешить ей налить воды у водокачки без очереди, иначе она опоздает на урок. Деревенский дурачок Гриша заворчал:

— Почему пропустили вперед немку?

Даже убогий тешил себя мыслью, что он человек более высокого сорта, чем эти немцы.

## 10

В жизни Ирмы был еще один трудный момент.

По окончании третьего курса каждому студенту-биологу надо было пройти полевую практику. А выехать из Томска Ирма не могла. Пошла за разрешением к начальнику областной прокуратуры Гурскому. Рассказала о своих затруднениях. Тот подумал и ответил:

— Раз надо ехать, значит надо. Учеба есть учеба. Но вы поедете не иначе, как с конвоем. Причем вы будете его содержать за свой счет. Ему полагаются суточные и питание.

Ирма представила себе свою практику — дюжий конвой с автоматом ни день, ни ночь не отходит от нее ни на шаг. Спросила Гурского:

— Вы это серьезно?

— Разумеется.

Конечно, Гурский прекрасно понимал, что такая практика выглядела бы нелепо, но лицо его оставалось непроницаемым, издевательски смеялись только глаза.

От такого предложения Ирма, естественно отказалась. Но ведь, не пройдя практики, она не сможет закончить университет. Выру-

чил доцент Розов, который предоставил ей практику на кафедре антропологии, не связанную с необходимостью выезда из Томска.

За все годы учебы на биофаке она имела в зачетке одни только пятерки. И тут всполошилось университетское начальство — нельзя же немке выдать диплом с отличием. Кроме того, недопустимо, что все годы она имела пятерки по основам марксизма-ленинизма. На партбюро решено было поставить ей на госэкзамене «4». Ирма отвечала первая, на все ответила, в том числе, и на несколько дополнительных вопросов. Председатель комиссии уже отпустил ее на место, всем было ясно, что будет «5». В это время вошел секретарь партбюро и попросил разрешения задать ей еще дополнительные вопросы. На все она ответила. Тогда, видя, что он не может ее «сбить», задает вопрос, на который, наверное, и сам не смог бы ответить:

— Назовите фамилии тех оппозиционеров, которые подписали «Обращение 3-х».

За «незнание» ответа на этот вопрос, ей поставили не «5», а «4». Это была единственная за все пять лет учебы четверка. Но не это было главной бедой (хотя слез было пролито немало), а то, что при распределении она не получила назначения на работу в Томске, а выдали ей свободный диплом. И тут выяснилось, что на работу в Томске ей устроиться невозможно. Она обошла все школы и техникумы города. Во многих из них нужны были биологи, поэтому сперва радовались молодому специалисту (да еще с такими оценками), встречали так сказать, с «распростертыми объятиями», но увидев в паспорте, что она, как немка, состоит на спецучете в комендатуре, отказывали под каким-нибудь предлогом.

То же самое произошло и в Степановской школе. Специалиста-биолога в школе не было, но Ирму директор отказалась принять на работу.

Постарались и меня выжить из школы. Прошло то время, когда я был «незаменимым». В школу был принят еще один учитель математики. Собственно нам обоим хватило нагрузок, но директор, уже не Болтовская, которая ценила меня как учителя, дала ему 36 часов, мне всего 6 часов в неделю, т.е. 1/3 нагрузки, а следовательно и 1/3 зарплаты, на что я, конечно, согласиться не мог. Но работать учителями мы с женой очень хотели. Были согласны поехать в любую деревню, хотя покидать Степановку, было, конечно, жаль. Хотя и не

любимый я предмет преподавал, но все равно работал с детьми. Это само по себе было большим счастьем. Здесь пришло ко мне самое важное в жизни учителя — я научился говорить с детьми. Мне почти не приходилось заботиться о дисциплине. На моих уроках все были так заняты делом, что даже озорным ребятам не интересно и некогда было шалить.

В середине сентября 1950 года мы с женой пришли в Томское сельское РОНО и предложили свои услуги. Встретили нас очень приветливо и предложили на выбор несколько школ, где были нужны учителя наших специальностей. Инспектриса РОНО очень настойчиво советовала ехать в Калтай. Ну что ж, Калтай так Калтай. Не все ли равно, мы не были ни в одной из этих школ.

Что представлял из себя Калтай в то время? Большое трактовое село, расположенное на берегу реки Томи. Каждый год во время половодья обрушиваются в воду последние могилы старого кладбища.

Раньше в Калтае была церковь, но кто-то поджег ее в 30-х годах, и она сгорела. Живут в селе татары и русские, позже приехало несколько немецких семей.

Школа располагалась в нескольких деревянных избах. Мы, приезжие учителя, поселились на частной квартирке, у «хозяйки».

Прибыв на место, мы поняли, почему инспектриса РОНО так настойчиво советовала нам поехать именно в Калтай. В старших классах здесь не было предметников-специалистов. По всем предметам, кроме русского языка, географии и литературы. Остальные предметы вели по-совместительству учителя начальных классов. Я взялся вести математику, физику и черчение. Ирма — биологию, химию и немецкий язык.

Мы горячо взялись за дело. У Ирмы, хотя она работала первый год, уроки проходили очень хорошо. Директор школы, старый, опытный учитель, побывав у нее на уроках, сказал на педсовете, что она «будто родилась в классе».

Несколько слов о директоре школы Ващенко. По специальности он географ. Лицо желтое, горбоносое, властное. Его профиль напоминал мне профиль римского патриция.

В начале он к нам относился хорошо, даже несколько приторно. Ласково называл нас «ребятами», любезно предоставил нам школьную лошадь и даже кучера (школьного завхоза), когда нам понадо-

билось съездить в соседнее село для отметки у коменданта. Тогда он не понимал значение слова «спецпоселенец», не понимал, что с точки зрения властей проявлять к немцам добрые чувства — предосудительно.

В Калтайской школе работала и его жена — она преподавала русский язык и литературу. Каждый вечер мы видели одно и то же: вдвоем они шествовали в магазин, оба толстые, старые, он держал ее под руку, а впереди бежала их белая собачка. В магазине они покупали всегда одно и то же: бутылочку «красненькой», плитку шоколада. Остальное покупала их домработница.

Месяца через два приехала та самая инспектриса РОНО, которая «сосватала» нас приехать сюда. Побывала на наших уроках, рассылалась в комплиментах. Однако, в учительской, когда нас не было, предостерегла учителей:

— Вы поосторожнее с этими Гартунгами. Они ведь ссыльные немцы.

И добавила:

— Только им ничего не говорите... Пусть работают...

Что означал ее совет «поосторожнее» — непонятно. Но среди учителей у нас уже были друзья, которые рассказали нам об этом предостережении.

Должно быть, она поговорила не только с учителями, но и директором школы. Во всяком случае, после ее посещения, его отношение к нам круто изменилось.

Прежде всего, он запретил нам заниматься с учениками на дому. Дело в том, что до меня математику преподавал опытный учитель, но семейные дела у него сложились так неудачно, что он больше занимался не школьными делами, а бесконечными распрями с женой. Частенько ребята, готовя домашнее задание, наталкивались на «темные места» и приходили посоветоваться со мной. Ващенко знал об этом, но прежде одобрял эти занятия дома, ставил даже меня, в этом смысле, в пример другим учителям. Теперь он по-другому взглянул на все это. Он вызвал меня к себе и начал допрашивать, причем очень строго:

— До меня дошли слухи, что у вас на дому бывают ученики. Так это?

— Да, и вы сами одобряли это.

— Ничего я не одобрял. Зачем они ходят к вам?

- Заниматься по математике.
- Я таких занятий не одобряю. Для занятий существует школа. Помолчал и повторил:
- Не одобряю. Не следует их собирать.
- Я и не собираю. Сами приходят.
- Скажите, чтобы не приходили.

Может быть, формально директор и был прав, но суть дела была в другом: ему во что бы то ни стало нужно было показать свое новое отношение ко мне, и так, чтобы это поняли не только учителя, но и ученики, а, следовательно, и все жители села. Но этот разговор был только началом. Ващенко теперь понял, что значит «спецпоселенцы» и старался как можно быстрее наверстать упущенное. Запрещение занятий на дому — это был пустяк. Он искал более серьезного повода, чтобы показать, что его отношение к этим «Гартунгам» изменилось.

Таким поводом послужил вопрос о завозе нам дров. В сельской местности все учителя получают на зиму топливо. Прошло уже ползимы, а нам с Ирмой еще ни разу дров не привозили, не в пример другим учителям, которым дрова уже давно были завезены полностью. И, естественно, хозяйка, у которой мы снимали комнату, была этим недовольна.

- Знала бы, что так получится, не пустила бы вас на фатеру.

А так как главным ее стимулом пустить нас на «фатеру» было именно то, что она получит даровые дрова, возникла реальная угроза, что она откажет нам от квартиры, и мы окажемся на улице.

Я пришел к Ващенко и рассказал ему о нашем безвыходном положении, поговорил с ним не униженно, не как жалкий проситель. (Сколько раз я ему напоминал об этих злощастных дровах, а он все отделывался обещаниями).

На этот раз я очень вежливо, но решительно потребовал полагающиеся нам дрова. Он выслушал меня весьма холодно, ничего не обещал, но сказал мне убийственные слова:

- Вот никогда не думал, что у вас такая идеология!

Мне была непонятна связь между моей идеологией и законным требованием привезти мне дрова. Но я понял какая угроза содержится в этих его словах. В те времена, да еще в нашем положении, обвинение «в такой идеологии» было очень опасно. Что значит «такая»? Ясно, что чужая, враждебная. И, естественно, станет во-

прос, — а может ли человек «с такой идеологией» воспитывать детей? Конечно, нет. Так оно и получилось.

На другой день он собрал педсовет, на котором он объявил, что освобождает меня от классного руководства в 7 классе, а арифметику в 5 — передает другому учителю. Учителя этого не уважали ни педагоги, ни ученики. Работал он в начальных классах. Его особенностью было то, что он вечно засыпал на уроках, на педсоветах, когда он бывал ассистентом и даже экзаменуя своих учеников. Видимо, это было проявлением какого-то заболевания. Ващенко, прекрасно понимая, что он не потянет арифметику в 5 классе. Как и следовало ожидать, с этим делом получился полный конфуз. Этот учитель сам не умел решать задачи по программе 5-го класса. Чему он мог научить детей? Когда ученики, а с ними и сам учитель, окончательно запутались в арифметике, «распутывать» пришлось мне, — меня временно назначили преподавать арифметику в 5 классе. Как только знания учащихся пришли в нормальное состояние, опять назначили его. И так в течение учебного года повторялось несколько раз.

Я уже упоминал о том, что в первые дни нашего пребывания в Калтае Ващенко дал нам лошадь съездить в Курлек к коменданту. Тогда он не знал, почему мы должны были это сделать.

Поездка эта запомнилась на всю жизнь.

Дорога шла лесом. Шел тихий осенний дождь. Лес был необычайно красив. Багряные, желтые, красновато-коричневые листья осин и берез выделялись на фоне темной хвои сосен. Густой лес перемежался открытыми полянами. Часто попадались густо заросшие кустарником лога, по сторонам дороги голубело небольшое озеро. Вообще, дорога из Калтая в Курлек очень живописна. За 30 лет, что мы прожили в Калтае, мы часто, сперва пешком, потом на велосипедах ездили по ней и никогда не уставали любоваться окружающей нас красотой.

В тот далекий сентябрьский день 1950 года мы представились нашему новому коменданту Мельникову. Это был молодой человек с живыми, внимательными глазами, очень вежливый, но без приторности.

Однажды мы с ним разговорились, и я узнал, что он тоже из Саратова, жил в детстве на той же улице, что и я. Возможно, что будучи

мальчишками, мы катались на санках с одной и той же горы. После этого разговора он сказал мне:

— Приезжайте в любой день, когда вам удобно, и не в комендатуру, а прямо ко мне домой.

В другой раз он сказал мне успокаивающе:

— Я вижу, вам неприятно бывать у меня... Но ведь это чистая случайность, что вы сидите по ту сторону стола, а я — по эту. Могло быть наоборот.

Я тогда постеснялся сказать ему, что «наоборот» никак не могло быть, что по другую сторону стола я не захотел бы сидеть.

Тогда же он мне посоветовал:

— Смотрите на все легче. Таков порядок, не я его придумал.

Он, видимо, хотел установить с нами простые человеческие отношения, но это не получилось. Мы не могли забыть, что он — «отец», а мы ссыльные. «Смотреть на все легче» — я так и не научился.

Да, мы никогда не могли забыть того, что разделяло нас, хотя он держался приветливо и просто. В Томске у бабушки жила наша 4-летняя дочурка Наташа. Почти каждую субботу мы пешком шли в город повидать ее и родителей. Мы тогда были молоды и прогулка в 23 км пешком не казалась нам серьезной преградой. А потом мы купили велосипеды, так что добирались до города быстро.

Но дело это осложнялось тем, что каждый раз нам надо было предварительно съездить в Курлек и получить на эту поездку письменное разрешение коменданта. Но раза два мы отлучались без такого разрешения. В субботу задержались в школе, а в город надо было обязательно попасть — один раз это был день рождения Наты, а другой раз нас вызвали по телефону — дочь сильно заболела. И вот, когда мы возвращались из этой «нелегальной» поездки, в деревне Кафтанчиково мы вдруг впереди грузовой машины, остановившейся у столов, увидели голубую фуражку. Мы сразу догадались, что в ней Мельников. Никак нельзя, чтобы он нас увидел. Мы обошли пешком опасное место по огородам, перетаскивая велосипеды через жерди изгородей. Дело осложнялось еще тем, что стояла весна, и в огородах было очень грязно и топко.

После этого сильного переживания мы в город без разрешения больше не ездили, боялись встретить на дороге Мельникова.

Но в общем-то нам сильно повезло, что комендант относился к нам по-человечески. За время ссыльного положения я навиделся всяких самодуров среди них.

Конечно, и взрослое население Калтая, и ученики знали, что мы находимся на спецучете, но это никак не сказывалось на их отношении к нам. И рядовые учителя, несмотря на злое предупреждение инспектрисы, продолжали относиться к нам просто и радушно. Главным для них был «не национальный признак», а наши деловые качества, наша любовь к учительскому делу, а также то, что мы относились и к ним, и к ученикам по-доброму, дружелюбно и уважительно.

Только один из них, друг Ващенко, ездил в Томск в РОНО и хлопотал, чтобы нас перевели куда-нибудь на Север. Кстати, это был тот самый учитель, который неудачно преподавал арифметику в 5-м классе вместо меня. Из этой его затеи ничего не вышло: Ващенко в тот год перешел на работу в другую школу, а новый директор — Горелов, не поддержал этого учителя. Более того, решительно встал на нашу защиту, заявив в РОНО:

— Если Гартунгов из школы заберете, я директорство принимать не буду, вернусь обратно заведовать Кандинской начальной школой.

Благодаря его заступничеству нас на север не отправили и мы остались преподавать в Калтайской школе. Я проработал в ней 25, а жена 30 лет. И все-таки мы все время чувствовали себя «спецами», и дело было не только в том, что мы ежемесячно должны были являться к коменданту и расписываться в ведомости вместе с бывшими ворами и убийцами.

Был стыд. Во время войны стыдно было, что мы не на фронте. Позже, когда война закончилась, наше безвинное наказание продолжалось. Нам казалось, что люди думают: «Сослан, значит, за дело. Нет дыма без огня».

Были стыд, обида, но никогда не было озлобленности, никогда не менялось наше отношение к окружавшим нас людям, к своей работе — мы всегда старались работать как можно лучше.

Но и об освобождении мы не могли не мечтать, и каждое политическое событие мы старались растолковать в свою пользу. Так было и с 20-м съездом КПСС. Никто не сказал нам: «Теперь вы

будете освобождены». Но на съезде был разоблачен культ Сталина, и из этого мы сделали вывод: «Освобождение наступит скоро». И не ошиблись.

## 11

ИРМА ЧАСТО ВСПОМИНАЛА о своей жизни в Кривощекково. Такое трудно забыть. Она рассказывала мне:

— Работали без выходных, по 12 часов в сутки, да еще несколько часов в день уходило на дорогу из зоны на комбинат и обратно. Но раз в месяц нам делали пересмену. Причем, пересмены бывали «черные» (когда мы отработывали ночь, оставались работать в дневную смену, т.е. фактически работали две смены подряд), но зато следующая пересмена «светлая» — когда мы, отработав день, выходили на работу только на следующий день в ночь. Получался как бы выходной день. Однажды случилось так, что такой «выходной» совпал у нашей смены с днем октябрьской революции. Мы решили устроить вечер с танцами. Раздобыли у русских вольнонаемных подружек по цеху патефон и принесли его в зону. Сперва, был небольшой импровизированный концерт — читали стихи, пели песни об октябрьской революции, затем начались танцы. Девчат было не узнать: разругались, похорошели, одели все самое лучшее, что не было еще обменено на еду. Начальник зоны, с большим трудом давший разрешение на проведение вечера, очень был удивлен, что мы умеем танцевать. Он сказал женщине-врачу (из немок), сидевшей рядом с ним:

— Вот так штука. Мои (!) немки, оказывается, танцевать умеют!

В бараке она рассказывала об этом своей подруге, а та, конечно, нам.

Его изумило, что те грязные, замученные непосильной работой существа, которых он привык видеть, оказались вдруг привлекательными девушками, да еще красиво танцующими. Прежде он их и за девушек-то не считал, впрочем, ничего удивительного в этом не было. С работы после изнуряющей дороги до зоны приходили такими измученными, что многие наскоро пожевав чего-нибудь, валились на нары и засыпали «каменным сном», не имея даже сил умыться. Большинство носили стеганные брюки, шапки-ушанки.

Такую шапку носила и «доходяга» Эрна, почему она стала «доходягой»? Была она слабенькой 16-летней девчонкой, часто боле-

ла и работа с 32 килограммными стаканами для снарядов была ей совершенно не по силам. Поэтому она часто не выполняла норму. В наказание ей уменьшали паек хлеба. От этого она окончательно обессилела и уже систематически не стала ее выполнять. Тогда ее часто стали помещать в карцер (в цеху его называли «зверинец»). Он был оборудован прямо в цехе в виде большой клетки со стальными прутьями. Все, идущие мимо, видели, кто там сидит. Не только унижение изматывало душу наказанной (около карцера все время находился конвой, который сопровождал девушку, когда ей надо было сходить в уборную).

Мучило и то, что в этой клетке почти невозможно было уснуть. В цехе всегда был страшный шум, не только от работающих станков, но и от вагонеток, которые проносились над головами. Кроме того, рядом находились ворота для вывоза готовой продукции во двор, оттуда шел страшный холод.

Конечно, после ночи, проведенной в такой клетке, девушки при всем желании не могли выполнить норму. Получался замкнутый круг. Самые слабосильные по несколько дней не выходили из цеха.

...Так вот эта Эрна носила мужскую шапку-ушанку, никогда ее не снимала, даже, когда ложилась спать (ее нары были рядом с печкой, там почти круглые сутки кто-нибудь варил себе покушать. Из-за очереди за место возникали шум, споры, ссоры, чтобы не слышать этого шума, Эрна не снимала шапку даже во сне). При очередном медосмотре (начальство боялось эпидемии сыпняка и периодически их проводило) санитарка взяла Эрнину шапку в руки и тут же, испугавшись, бросила ее на пол. И весь пол вокруг шапки стал серым — из нее посыпались вши, а в самой шапке их было столько, как муравьев в муравейнике. Непонятно, как Эрна терпела такую муку.

Не только для Эрны, но и для многих других девушек работа на комбинате была просто непосильной. Ирма же попала в бригаду стружконосов. Сперва она обрадовалась — работа эта показалась ей значительно легче, чем снимать с конвейера 16 или 32-х килограммовые стаканы для снарядов. Но и работа стружконоса оказалась ей явно не под силу. Зачастую она с напарницей не могли даже поднять тяжело нагруженные металлической стружкой носилки, а ведь их надо было пронести через огромный цех во двор. Трудно приходи-

лось стружконосам и из-за резкого перепада температуры: в цеху было очень жарко, так как под одной крышей с ним был «горячий» цех, а стружку надо было вынести и свалить в огромную кучу во дворе. А мороз в 43-ем году был страшный, очень часто ртутный столбик опускался ниже 40-ка градусов. Работницы-стружконосы беспрерывно простужались.

В один из январских дней Ирма окончательно обессилела. В отчаянии она опустилась на землю рядом с носилками. Подбежал бригадир, стал обзывать ее, пинать ногами, чтобы она встала.

В этот момент мимо проходил начальник бюро производства цеха Юрий Николаевич (к великому сожалению и стыду, Ирма забыла его фамилию). Он пригласил ее в свой кабинетик, расспросил, кто она, как оказалась в цеху. Узнав, что она студентка ТГУ, вдруг обрадовался и сказал, что они коллеги — он студент-заочник, вернее, дипломник одного из московских вузов.

На следующий день он подошел к ней и сказал, что получил разрешение взять ее к себе кладовщицей в инструментальную кладовую.

Своим добрым, бескорыстным поступком он, безусловно, спас ей жизнь. К этому времени у нее очень сильно стал болеть желудок (как оказалось потом, образовалась язва желудка).

Кроме того, Юрий Николаевич поручился за Ирму, что она не убежит, и ее расконвоировали. (К этому времени бараки, где жили мобилизованные немки, обнесли высоким забором со смотровыми вышками, а на работу и с работы их водили под конвоем с собаками. Для чего нужно было вооруженным солдатам вести на поводках этих злющих псов — непонятно).

Большую роль в судьбе Ирмы сыграла ее подруга Ольга Фаст. Крепкая, здоровая, она была одной из лучших станочниц цеха, всегда выполнявшая и перевыполнявшая норму. Станок ее стоял прямо против инструментальной кладовой. Ирма и Оля подружились. (Дружбу ту они сохранили на всю жизнь, хотя и живут сейчас далеко друг от друга.)

Познакомившись и разговорившись, они выяснили, что их родители выселены недавно из Томска в одно и то же место — пригородный поселок Степановку.

В конце 1956 года среди советских немцев поползли слухи, что их скоро освободят.

Мы всегда воспринимали нашу высылку, как величайшую несправедливость, так как подавляющее большинство из нас были патриотами своей родины — Советского Союза. Мы много страдали и пережили во время высылки, от комендантского режима, но в своем униженном положении мы никогда не винили русский народ. Виноват был «великий и мудрый вождь» со своими преступными сообщниками. Но до 20-го съезда мы этого не понимали, а, как большинство советских людей верили в него и даже любили. Так нас воспитывали в семье, детсаду, школе и ВУЗе. И только после 20-го съезда узнали правду, что высылка нас и других репрессированных народов это была его идея. История вскрыла не только эти, но и огромное число других преступлений, вдохновителем которых был Сталин.

Освобождения ждали долгие годы.

И вот, наконец, оно пришло. Событие, которого мы так ждали! Мы думали, что это пройдет как-то торжественно.

Однако все произошло очень буднично. Просто Мельников протянул мне и Ирме голубовато-серые бумажки, где было написано, что мы сняты с учета комендатуры.

И — все.

Не год — не два, а почти 15 лет мы были в ведении спецрежима. Комендант полностью распоряжался нашими судьбами, жаловаться на него (особенно во время войны) было бессмысленно.

Пятнадцать лет... Я хотел написать «лучших», но понял, что это не так. Все годы нашей жизни — лучшие. Последние даже более дороги, чем молодые. Страшно жалко тех стариков, которые умерли, так и не дождавшись освобождения.

Пятнадцать лет... Нет, они не прошли даром. В эти годы я много читал, писал сказки, осваивал преподавание математики, физики, химии. Вечерами просиживал в школе, заранее проделывал опыты, которые завтра буду показывать в классе. Почти все свободное время я посвящал математике и физике, решая сотни задач, чтобы стать хорошим специалистом того дела, за которое взялся.

На занятия литературным трудом оставалось совсем мало времени. Но когда удавалось хоть немного времени выкроить для него, это доставляло величайшее наслаждение. Хотя перспектив когда-нибудь увидеть изданным свои произведения у меня в то время не было. Писал потому, что не мог не писать.

\* \* \*

Повесть на этом можно было бы закончить, но, видимо, я не все скажу, если не упомяну об одной встрече. Выйдя на пенсию, мы переехали в город Томск-7, где жили обе наши дочери. Как-то жена зашла в магазин, а я остался ждать ее на улице.

Ко мне подошел пожилой мужчина с орденом Красного Знамени и многочисленными наградами на груди. Увидев, что я опираюсь на палочку, спросил:

— На каком фронте воевал, браток?

— Я не воевал.

— Почему?

— Глаза, — соврал я, чтобы долго не объясняться.

— Значит сумел в щели отсидеться?

Он не стал больше ничего выяснять и отошел от меня. На лице его было написано презрение.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Автобиография . . . . .	4
2. НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ (повесть) . . . . .	13
3. ПАТРИОТЫ БЕЗ РОДИНЫ (повесть) . . . . .	85

Отпечатано в типографии издательства «Ветер».

634003, г. Томск, пл. Соляная, 6, стр. 16.

Тел./факс (3822) 706-319, [vetertomsk@yandex.ru](mailto:vetertomsk@yandex.ru).

Подписано в печать: 09.10.2018. Заказ № 10613.

Формат 62х84/16. Гарнитура «Minion Pro».

Бумага офсетная № 1. Усл. печ. л. 4,5.

Тираж 300 экз.

